РУССКИЕ ЛЮД

Н. ВОДОВОЗОВ

БЕЛИНСКИЙ

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ 1944

SHOUT
SHARE
IT

- Проф. Н. ВОДОВОЗОВ
  - ПЕРВЫЕ ГОДЫ
  - ПЕНЗЕНСКАЯ ГИМНАЗИЯ
  - СТУДЕНТ МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
  - ВЫХОД В ЖИЗНЬ
  - СОТРУДНИК «ТЕЛЕСКОПА» И «МОЛВЫ»
  - БЕЗ КОМПРОМИССОВ
  - В ПЕТЕРБУРГЕ
  - НОВЫЕ ДРУЗЬЯ И СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ БЕЛИНСКОГО
  - ВЕЛИКИЙ СЫН РУССКОГО НАРОДА
  - ПО РОДНОЙ ЗЕМЛЕ
  - ПОСЛЕДНИЕ СИЛЫ — РОДИНЕ
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18
  - 19
  - 20
  - 21

Проф. Н. ВОДОВОЗОВ
Виссарион Григорьевич БЕЛИНСКИЙ

«…пусть читатель вспомнит о таких предшественниках русской социал-демократии, как Герцен, Белинский, Чернышевский… пусть подумает о том всемирном значении, которое приобретает теперь русская литература…»

Ленин, Соч., т. IV, стр. 381, изд. 3-е.

«Гитлеровская партия есть партия врагов демократических свобод, партия средневековой реакции и черносотенных погромов…

…И эти люди, лишенные совести и чести, люди с моралью животных имеют наглость призывать к уничтожению великой русской нации, нации Плеханова и Ленина, Белинского и Чернышевского, Пушкина и Толстого, Глинки и Чайковского, Горького и Чехова, Сеченова и Павлова, Репина и Сурикова, Суворова и Кутузова!»

Сталин, О Великой Отечественной войне Советского Союза. Изд. 3-е, стр. 26–27.

ПЕРВЫЕ ГОДЫ

Молодой врач Григорий Никифорович Белынский, только что успешно закончивший свое образование в Петербургской медицинской академии, летом 1809 года получил назначение военным лекарем в Кронштадт, в Балтийский флот.

Григорий Никифорович был сыном священника села Белыни Пензенской губернии, учился в Пензенской духовной семинарии, где и получил свою фамилию Белынский, — обычно семинаристам давали прозвища по месту их происхождения.

Окончив семинарию, Григорий Никифорович не захотел стать священником по примеру отца и поступил в медицинскую академию, куда его приняли на казенный счет, казенным, как тогда говорили, студентом. Уже в юности Григорий Белынский отличался крайне неровным, увлекающимся характером. Поэтому он казался окружающим то «человеком благороднейшим в высшей степени, с чувствами высокими, рожденным с отличными способностями», то человеком, имевшим «весьма невысокие душевные качества, мелочность и даже пустоту».

В Кронштадте Григорий Никифорович познакомился с дочерью одного морского офицера, и влюбился в нее. Вскоре же справили и свадьбу. Корабль, на котором служил Григорий Белынский, отправлялся из Кронштадта в Свеаборг, где была создана вторая база русского военно-морского флота на Балтике.

В Свеаборге у Григория Никифоровича часто собирались в доме моряки. 1812 год еще не наступил, но, горячее дыхание его уже чувствовалось. В небольшой комнате не было конца разговорам о ближайшем будущем, о наполеоновских завоеваниях, о неизбежности великой борьбы русского народа против европейского диктатора.

12 июля 1811 года у Белынских родился сын Виссарион, будущий великий русский мыслитель.

Первые пять лет жизни маленького Виссариона прошли в крепости Свеаборг. Отец часто брал его с собой, уезжая по делам службы в Гельсингфорс, отделенный от Свеаборга нешироким проливом. Северная природа Финляндии благотворно влияла на мальчика, родившегося слабым, с предрасположением к легочным заболеваниям. Он полюбил ее суровую простоту, воспетую современным ему русским поэтом Баратынским:

Суровый край: его красам,
Пугаяся, дивятся взоры;
На горы каменные там

Поверглись каменные горы;
Синея, всходят до небес
Их своенравные громады;
На них шумит сосновый лес;
С них бурно льются водопады;
Там дол очей не веселит;
Гранитной лавой он облит;
Главу одевши в мох печальный,
Огромным сторожем стоит
На нем гранит пирамидальный;
По дряхлым скалам бродит взгляд;
Пришлец исполнен смутной думы:
Не мира ль давнего лежат
Пред ним развалины угрюмы?

Пытливый мальчик замечал больше, чем думали об этом взрослые. Он рано начал глубоко страдать от постоянных семейных раздоров родителей. Он полюбил уединение и долгие часы проводил на берегу моря, вглядываясь в бесконечную даль, где за тихо катящимися волнами ему чудился великий город, о котором он так много слышал от взрослых, город-столица его родины, беспредельной страны, носящей имя Россия.

В 1816 году, когда уже отшумели громы наполеоновских войн, семья Белынских покинула Свеаборг и переселилась на родину Григория Никифоровича — в город Чембар Пензенской губернии. Бывший военный врач морского флота, выйдя в отставку, стал теперь обыкновенным уездным лекарем. Новые люди окружили его. Не с кем было поговорить о серьезных вещах, а пересуды с обывателями не удовлетворяли Григория Никифоровича.

С тоски он стал запивать, его отношения с чембарским «высшим» обществом скоро ухудшились и даже сделались враждебными. Он был образованным человеком, свободным от многих предрассудков, и не стеснялся высказывать свое мнения о людях подчас в очень резкой и обидной форме. О нем стали говорить, как о вольтерьянце[1] и безбожнике, перестали обращаться к нему за лечебной помощью, — боялись острого языка лекаря. Но к бедным людям, действительно нуждавшимся в нем, Григорий Никифорович проявлял исключительную чуткость и заботливость. Он не только давал им бесплатно советы, но охотно дарил лекарства и даже делился с ними последними деньгами.

В Чембаре семья Белынских поселилась в домике на базарной

площади.

В доме Белынских постоянно жили «оспенники», то есть мальчики, присылавшиеся к Григорию Никифоровичу попеременно от крестьян казенных и помещичьих для обучения оспопрививанию. От этих мальчиков Виссарион слышал много страшных рассказов о жестокости местных помещиков, и его детское сердце сжималось от негодования и гнева.

Маленький Виссарион был любимцем своего отца, который не мог не заметить даровитости ребенка, его сметливости и любознательности. Кроме Виссариона, в семье были другие дети: два сына, Константин и Никанор, и дочь Александра. Виссарион, или Висяша, как называли его дома, больше других детей походил на отца лицом и характером. Однако несчастная слабость Григория Никифоровича к вину, которая с годами становилась все сильнее, отталкивала сына от отца. Все же Виссарион с удовольствием вспоминал впоследствии дни своего детства. «Я снова, — писал он в одной статье, — становлюсь ребенком, и вот уже с бьющимся сердцем бегу по пыльным улицам моего родного городка, вот вхожу на двор родного дома с тесовою кровлею, окруженного бревенчатым забором… Вот от ворот до крыльца треугольный палисадник, с акациями, черемуховым деревом и купою розанов… Вот и огород, которому со двора служит оградою погреб и другие службы, с небольшими — промежутками частокола, а с остальных трех сторон — плетень… Вот и маленькая баня при входе в огород, даже и среди белого дня пугавшая мое детское воображение своей таинственною пустотою… А вот возле нее и стог сена, на котором я часто воображал себя то Александром Македонским, то Ерусланом Лазаревичем… А в доме — там нет ни комнаты, ни места на чердаке, где бы я не читал, или не мечтал, или позднее не сочинял…»

Мать по-своему любила Виссариона. Она принадлежала к числу тех женщин, которые под воспитанием ребенка понимают только его питание. Попечения о материальных нуждах детей неизбежно вызывали у нее денежные требования к мужу, которых тот по ограниченности своих доходов не мог удовлетворить. Отсюда — поводы для семейных раздоров.

Висяша в таких случаях убегал — обычно на огород, где, «спрятавшись между грядками бобов и гороха, под открытым небом, в лесу пышных подсолнечников — этого роскошного украшения огородной природы», погружался весь в чтение какого-нибудь «Английского милорда», «Зеркала добродетели» с раскрашенными картинками или даже романа «господина Вольтера», взятого тихонько из комнаты отца. В 1820 году в

Чембаре открылось уездное училище, и Виссарион поступил туда. Весь педагогический штат училища состоял вначале из одного смотрителя— Авраама Григорьевича Грекова, который преподавал все предметы. Это был человек добрый и кроткий, действовавший на детей более ласкою и советом, чем угрозами и наказаниями.

Вскоре учителей стало больше, но дело от этого не выиграло. Второй учитель — Василий Рубашевский — оказался страстным любителем розог, которые он употреблял часто в виде «поощрения», наказывая ни в чем не повинного ученика «для лучших успехов в будущем». Против подобных отвратительных приемов учителя первым восстал юный Виссарион, хотя его Рубашевский ни разу не подвергал «предварительному» наказанию, видимо, сразу же раскусив свободолюбивый и непреклонный характер мальчика. Виссарион добился того, что в школьную практику Рубашевского вмешался Григорий Никифорович и в качестве уездного лекаря потребовал от смотрителя училища запрещения наказывать детей без каких-либо проступков с их стороны.

Преподавание в чембарском училище шло в духе патриархальной простоты. Часто Рубашовский да и сам добряк Греков прерывали урок в классе, чтобы сбегать к себе на квартиру и принести жертвенное возлияние Бахусу[2], поклонниками которого были оба в равной степени. Ученики, тем временем предоставленные самим себе, бежали купаться на речку или гулять в лес, где предавались своим любимым играм.

Удивительно, что при такой системе преподавания Виссарион все же не потерял времени даром. «Еще будучи мальчиком и учеником уездного училища, — вспоминал он впоследствии, — я в огромные кипы тетрадей, неутомимо, денно и нощно, и без всякого разбора, списывал стихотворения Карамзина, Дмитриева, Сумарокова, Державина, Хераскова, Петрова, Богдановича, Крылова и других… я плакал, читая «Бедную Лизу»[3] и, «Марьину рощу», и вменял себе в священнейшую обязанность бродить по полям при темном свете луны, с пасмурным лицом, а ла Эраст Чертополохов». Только пытливая любознательность, неутомимое трудолюбие и усиленное чтение помогли ему уже в детские годы развить свой ум и обогатить память положительными знаниями.

В 1823 году чембарское уездное училище инспектировал И. Лажечников, впоследствии известный писатель, автор исторических романов: «Ледяной дом», «Басурман» и другие. Вот что он рассказывает о своей встрече с юным Виссарионом: «Во время делаемого мною экзамена выступил передо мною, между прочими учениками, мальчик лет двенадцати, которого

наружность с первого взгляда привлекла мое внимание. Лоб его был прекрасно развит, в глазах светился разум не по летам; худенький и маленький, он между тем на лицо казался старше, чем показывал его рост. Смотрел он очень серьезно… На все делаемые ему вопросы он отвечал так скоро, легко, с такою уверенностью, будто налетал на них, как ястреб на свою добычу, (отчего я тут же прозвал его ястребком), и отвечал большею частью своими словами, прибавляя ими то, чего не было даже в казенном руководстве. Доказательство, что он читал и книги, не положенные в классах. Я особенно занялся им, бросался с ним от одного предмета к другому, связывая их непрерывной цепью, и, признаюсь, старался сбить его… Мальчик вышел из трудного испытания с торжеством. Это меня приятно изумило также и то, что штатный смотритель (А. Греков) не конфузился, что его ученик говорит не слово в слово по учебной книжке (как я привык видеть и с чем боролся немало в других училищах). Напротив, лицо доброго и умного смотрителя сияло радостью, как будто он видел в этом торжестве собственное, свое. Я спросил его, кто этот мальчик. «Виссарион Белынский, сын здешнего уездного штаблекаря», сказал он мне. Я поцеловал Белынского в лоб, с душевною теплотой приветствовал его, тут же потребовал из продажной библиотеки какую-то книжонку, на 31-главном листе которой подписал: «Виссариону Белынскому за прекрасные успехи в учении».

ПЕНЗЕНСКАЯ ГИМНАЗИЯ

В 1825 году Виссарион окончил чембарское училище и поступил в первый класс Пензенской мужской гимназии, которая состояла тогда из четырех старших классов.

В Пензе у Белынских не было близких родных, у которых мог бы поселиться четырнадцатилетний Висяша; поэтому мальчика поручили попечению двух знакомых семинаристов: Голубинского и Меридианова. Семинаристы жили в маленьком, но чистом домике по Верхней Пешей улице, принадлежавшем мещанину Петрову, пожилому вдовцу. В доме было четыре комнаты с кухней. Две комнаты занимал сам хозяин, в третьей жили семинаристы, а четвертую занял Виссарион вместе с дальним своим родственником Дмитрием Ивановым, приехавшим также учиться в Пензенскую гимназию. Меблировка комнат в доме Петрова была незатейлива: деревянные некрашеные кровати, такие же столы, легкие переносные скамейки и стулья со сквозными решетками на спинках… Впрочем, стулья находились лишь в комнатах самого хозяина, а у жильцов стояли вместо них пустые бочонки из-под кваса. Это объяснялось тем, что дюжие риторы[4], философы и богословы, посещавшие комнаты жильцов, сокрушали стулья с такой легкостью, словно они были соломенные.

Хотя Григорий Никифорович Белынский постоянно нуждался в деньгах и высылал их сыну весьма неаккуратно, Виссарион настоящей бедности в то время еще не знал. У него был достаточный запас белья, взятый с собой из дому, будничное и праздничное платье, необходимые учебные принадлежности и всегда сытный стол с утренним и вечерним чаем. Мещанин Петров, сам любивший вкусно и плотно покушать, кормил своих постояльцев хорошо.

Уже тогда Виссарион пристрастился к театру и не пропускал ни одного нового спектакля в Пензе. Денег у него было мало, приходилось прибегать к хитрости и проходить в театр с товарищем по одному билету.

Учение в гимназии шло у Виссариона не плохо. Среди преподавателей были хорошие педагоги, превосходно знавшие свой предмет и умело преподававшие его гимназистам. Таков был, например, учитель математики Яков Прохорович Ляпунов, который, вызвав ученика к доске, никогда не отпускал его, пока не убеждался, что задача понята и урок усвоен. Но Яков Прохорович часто пропускал занятия. Он был стар, разбит параличом и не владел левой рукой и ногой. Его привозили в

гимназию в особой тележке. В классе Яков Прохорович передвигался с помощью крепостного слуги и часто бывал вынужден диктовать то, что следовало самому чертить на доске.

Большим уважением гимназистов пользовался преподаватель латинского языка Николай Степанович Дмитриевский. Он горячо любил свой предмет и умел привить любовь к нему воспитанникам. Неудивительно, что Виссарион успешно занимался по латыни и постоянно получал отметки: «optime», «excellentissime», что означало: «хорошо» и «превосходно».

Виссарион считался в гимназии признанным остроумцем. Чаще всего доставалось от него Латышову, великовозрастному лентяю и тупице лет восемнадцати. Однажды Дмитриевский, задав Латышову вопрос, тщетно ожидал ответа и наконец произнес: «Нет, Латышов, от вас толку не добьешься; вам не помогают и мои поощрительные отметки». Тогда Виссарион, как бы не намеренно, продекламировал вслух:

Осел всегда останется ослом,
Хотя осыпь его звездáми:
Где надо действовать умом,
Он только хлопает ушами.

Весь класс разразился гомерическим хохотом, так что Дмитриевский вынужден был строго сказать: «Белынский! Прошу вас замолчать!»

Особенно высоко ценил способности Виссариона преподаватель естествознания Михаил Максимович Попов. На уроках Михаила Максимовича даже отчаянные шалуны вели себя сдержанно и прилично. Обыкновенно Михаил Максимович собирал учеников вокруг стола и, перелистывая составленный им гербарий, заставлял по очереди повторять латинские названия указываемых им растений. — Нередко он устраивал ботанические экскурсии за город, и эти прогулки по полям и садам были настоящим праздником для гимназистов. Увлекательно рассказывал учитель о цветах и травах; собирание их, ловля бабочек и других насекомых наполняли время, проходило оно весело и быстро. Вскоре гимназисты действительно хорошо ознакомились с флорой Пензенской губернии.

Виссарион был все время одним из лучших учеников в первом и во втором классах гимназии. Об этом свидетельствуют полученные им награды при переходе в третий класс. Однако гимназического курса Виссарион не закончил. Это объясняется тем, что еще во втором классе гимназии он задумал поступить в университет. В это время Виссариону было уже 17 лет.

Сроднившись с мыслью об университете, он охладел к гимназическому учению, реже посещал занятия и уже не стал держать переходных экзаменов в последний, четвертый класс, надеясь в августе 1828 года ехать в Москву.

В то лето в Чембаре собралось много молодежи; были и оба семинариста, с которыми Виссарион квартировал в Пензе. Все они были завзятыми любителями театра, и неудивительно, что кому-то из них пришла в голову мысль поставить на домашней сцене драму Шекспира «Отелло». Роль Яго досталась Виссариону, Дездемону взялся сыграть Дмитрий Иванов, Отелло — семинарист Голубинский.

Пока шли репетиции, в семействах актеров деятельно приготовлялись соответствующие костюмы. Все платки и шали были превращены в плащи и мантии, а для головного убора мавра приспособили дамский берет со страусовым пером. Яго вооружился настоящей саблей и деревянным кинжалом, оклеенным блестящей серебряной бумагой.

Спектакль привел в восторг всю чембарскую публику. Особенно отличились игрой семинаристы и Виссарион, который превосходно разучил свою роль.

Лето промелькнуло быстро. Но желание Виссариона уехать осенью в Москву не исполнилось. Пришлось возвратиться в Пензу и продолжать ученье в том же третьем классе, поскольку переходные экзамены в четвертый класс не были сданы своевременно. Это еще более охладило Виссариона к гимназии. Правда, учителя уже тогда успели оценить юношу и понимали, что второгодничество его — простая случайность. Когда младшие классы остались временно без учителя русского языка, вести этот предмет поручили именно Виссариону. Уже известный нам учитель Попов, говоря о литературных интересах гимназиста Белынского, вспоминает: «Он и в то время не скоро поддавался на чужое мнение. Когда я объяснил ему высокую прелесть в простоте, поворот к самобытности и возрастание таланта Пушкина, он качал головой, отмалчивался или говорил: «Дайте подумаю; дайте еще прочту». Если же с чем он соглашался, то бывало отвечал со страшной уверенностью: «Совершенно справедливо!»

Впоследствии сам Виссарион писал об этой поре своей жизни так: «И в детстве знал Державина наизусть, и мне трудно было из мира его напряженно-торжественной поэзии… перейти в мир поэзии Пушкина. Для моего детского воображения, поставленного державинскою поэзиею на ходули, поэзия Пушкина казалась слишком простою, слишком кроткою и лишенною всякого полета, всякой возвышенности».

Начитанность Виссариона в годы его гимназической жизни была просто удивительна. Он читал все тогдашние журналы и, по выражению Попова, «всасывал в себя дух Полевого и Надеждина» — тогдашних писателей и литературных критиков.

На зимние каникулы Виссарион уехал опять в Чембар и в Пензу уже более не возвратился. Оставшееся полугодие он решил заняться самостоятельной подготовкой, чтобы осенью поступить в Московский университет.

Будущее весьма неясно рисовалось Виссариону в то время. Еще в чембарском училище он пробовал писать баллады в духе Жуковского, но скоро сам увидел, что поэтического таланта у него нет. В гимназии он стал писать повести, но и они у него «не клеились». Тогда он решил посвятить себя науке, будучи твердо убежден, что его родине нужны просвещенные люди.

Желание юноши, не окончившего гимназического курса, ехать в столицу и поступить в университет казалось непростительной дерзостью всем его чембарским знакомым. Они заранее предрекали Виссариону неудачу и не скрывали своего насмешливого отношения к нему.

Преодолев все моральные и материальные затруднения, в августе 1829 года Виссарион выехал в Москву. У него не было с собой метрического свидетельства, и у московской заставы его не хотели пропустить в город. К счастью, с ним вместе ехал его родственник Владыкин, человек состоятельный. Виссарион назвал себя крепостным слугой Владыкина и только после этого был пропущен через заставу.

Однако поступить в университет без метрического свидетельства, заменявшего паспорт, было нельзя. Все планы и надежды юноши казались разбитыми. Если он не успеет подать во-время бумаги, текущий учебный год для него будет потерян. Виссарион пишет отчаянное письмо родителям в Чембар: «Бога самого ради прошу вас: пришлите как наивозможно скорее свидетельство, без него я погиб».

Несмотря на то, что первые дни пребывания в Москве были для Виссариона полны забот и тревоги, великий город сразу же пленил воображение пылкого юноши. В письме родным он с присущей ему горячностью говорит: «Изо всех российских городов Москва есть истинный русский город, сохранивший свою национальную физиономию, богатый историческими воспоминаниями, ознаменованный печатью священной древности, и зато нигде сердце русского не бьется так сильно, так радостно, как в Москве. Ничто не может быть справедливее этих слов, сказанных великим нашим поэтом:

Москва! как много в этом звуке
Для сердца русского слилось,
Как много в нем отозвалось!

Какие сильные, живые, благородные впечатления возбуждает один Кремль! Над его священными стенами, над его высокими башнями пролетело несколько веков. Я не могу истолковать себе тех чувств, которые возбуждаются во мне при взгляде на Кремль. Вид их погружает меня в сладкую задумчивость и возбуждает во мне чувство благоговения… Монумент Минина и Пожарского стоит на Красной площади против Кремля… Когда я рассматриваю его, друзья мои, что со мною тогда делается! Какие священные минуты доставляет мне это изваяние… «Вот, — думаю я, — вот два исполина веков, обессмертившие имена свои пламенною любовью к милой родине. Они всем жертвовали ей: именем, жизнию, кровью. Когда отечество их находилось на краю пропасти… они одни решились спасти ее, одни вспомнили, что в их жилах текла кровь русская. В сии священные минуты забыли все выгоды честолюбия, все расчеты подлой корысти — и спасли погибающую отчизну. Может быть, время сокрушит эту бронзу, но священные имена их не исчезнут в океане вечности… Имена их бессмертны, как дела их. Они всегда будут воспламенять любовь к родине в сердцах своих потомков. Завидный удел! Счастливая участь!»

Наконец долгожданное метрическое свидетельство из Чембара было получено. Но и здесь не обошлось без курьеза: рукой писаря фамилия «Белынский» была переделана в «Белинский». Пришлось Виссариону так и подписать заявление…

31 августа Виссарион Белинский держал приемные испытания и уже через два дня после этого получил студенческий табель. «Итак, — писал он радостно домой, — я теперь студент и состою в XIV классе[5], имею право носить шпагу и треугольную шляпу».

Радость Белинского становится вполне понятной, если вспомнить значение Московского университета в те годы. Современник Виссариона Григорьевича по Московскому университету И. А. Гончаров пишет: «Наш университет в Москве был святилищем не для одних нас, учащихся, но и для их семейств и для всего общества. Образование, вынесенное из университета, ценилось выше всякого другого. Москва гордилась своим университетом, любила студентов, как будущих самых полезных, может быть, громких, блестящих деятелей общества. Студенты гордились своим званием и дорожили занятиями, видя

общую к себе симпатию и уважение. Они важно расхаживали по Москве, кокетничая своим званием и малиновыми воротниками. Даже простые люди, и те при встречах ласково провожали глазами юношей в малиновых воротниках».

То же отмечает и Герцен в «Былом и думах»: «Московский университет вырос в своем значении вместе с Москвою после 1812 года; разжалованная императором Петром из царских столиц, Москва была произведена императором Наполеоном (сколько волею, а вдвое того неволею) в столицы народа русского. Народ догадался по боли, которую чувствовал при вести о ее занятии неприятелем, о своей кровной связи с Москвой. С тех пор началась для нее, новая эпоха. В ней университет больше и больше становился средоточием русского образования. Все условия для его развития были соединены: историческое значение, географическое положение и отсутствие царя».

СТУДЕНТ МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Материальное положение Белинского в Москве оказалось значительно хуже, чем было в Пензе. Отец его, не удовлетворенный жизнью, видя в общественной и служебной среде пустоту, мелкие интересы и эгоизм, а в семейной жизни упреки недовольной жены, стал опускаться все более и более, запил так, что потерял окончательно врачебную практику и очутился на грани нищеты.

Виссариону нужно было самому теперь заботиться о куске хлеба и «о том, как бы помочь семье, где были маленькие дети. В поисках выхода из трудного положения он подает в октябре месяце прошение о принятии его на казенное содержание в университет, на так называемый «казенный кошт». Ответ последовал не скоро. Только в январе 1830 года Белинский был зачислен в число «казенных студентов».

Первый год студенчества промелькнул быстро, оставив после себя яркий след благодаря шумному товариществу и многим интересным лекциям. Превосходное описание студенческой жизни того времени мы находим у М. Ю. Лермонтова, поступившего в Московский университет годом позднее Белинского:

И, наконец, в студенты посвящен,
Вступил надменно в светлый храм науки.
Святое место! помню я, как сон,
Твои кафедры, залы, коридоры;
Твоих сынов заносчивые споры;
О боге, о вселенной и о том,
Как пить — ром с чаем или голый ром;
Их гордый вид пред гордыми властями,
Их сюртуки, висящие клочками.
Бывало, только восемь бьет часов,
По мостовой валит народ ученый.
Кто ночь провел с лампадой средь трудов,
Кто в грязной луже, Вакхом упоенный;
Но все равно задумчивы, без слов
Текут… Пришли, шумят…

Студенты предъявляли высокие требования к своим

профессорам. Не отвечавших этим требованиям они не уважали; даже презирали. Однажды попечитель спросил студента: «Сколько у вас профессоров в отделении?» — «Без Малова девять», ответил студент, давал понять, что профессора Малова, грубого и невежественного, необходимо вычитать, говоря об университетской профессуре.

Зато знающих, талантливых профессоров студенты горячо любили; на их лекциях аудитории были всегда полны, каждое слово жадно воспринималось и возбуждало юношескую мысль. К таким профессорам принадлежал М. Г. Павлов, преподававший физику и сельское хозяйство. Но, как свидетельствует Герцен, слушавший Павлова, «физике было мудрено научиться на его лекциях, сельскому хозяйству невозможно, но его курсы были чрезвычайно полезны, Павлов стоял в дверях физико-математического отделения и останавливал студента вопросом: «Ты хочешь знать природу? Но что такое природа? Что такое знать?..» И в своих блестящих лекциях излагал студентам современные философские системы, приоткрывая перед ними сияющие вершины знания». Наряду с Павловым большой популярностью пользовался И. И. Давыдов, профессор истории и русской литературы. Его лекции привлекали не только студенческую аудиторию. Однажды послушать Давыдова приехал Пушкин, находившийся тогда в Москве

«Мы, — рассказывает И. А. Гончаров, который в то время был студентом, — все жадно впились глазами в Пушкина. Давыдов оканчивал лекцию, Речь шла о «Слове о полку Игореве». Тут же ожидал своей очереди читать лекцию, после Давыдова, и Каченовский. Нечаянно между ними завязался по поводу «Слова о полку Игореве» разговор, который мало-помалу перешел в горячий спор… Мы тесной толпой, как стеной, окружили Пушкина и обоих профессоров. Не умею выразить, как велико было наше наслаждение — видеть и слышать нашего кумира».

В конце пребывания Белинского в университете начал чтение лекций профессор теории изящных искусств и археологии Н. И. Надеждин. Лекции Надеждина вначале имели шумный успех. Обладая замечательной памятью, он читал, не пользуясь никакими записками, всегда горячо и вдохновенно. Но требовательная молодежь скоро заметила, что профессор слишком много импровизирует, недостаточно углубляется в свой предмет, в его красноречии не все искренне. Наступило охлаждение, хотя интерес к лекциям Надеждина все же остался, и студенты продолжали посещать его лекции.

ВЫХОД В ЖИЗНЬ

Осенью 1830 года в Москве началась эпидемия холеры. Лекции в университете были прекращены, казенным студентам запретили выходить из общежития. Теперь Белинский мог познакомиться со всей прелестью «казенного кошта». Он с возмущением пишет домой: «Я теперь нахожусь в таких обстоятельствах, что лучше согласился бы быть подьячим в чембарском земском суде, нежели жить на этом каторжном, проклятом казенном коште. Если бы я прежде знал, каков он, то лучше бы согласился наняться к кому-нибудь в лакеи и чищением сапог и платья содержать себя, нежели жить в нем».

Белинский продолжает и в университете протестовать против всякого произвола и насилия. Одному из студентов крайне нужно было уйти из общежития в город. Несмотря на строгое запрещение начальства, он все-таки отлучился. После возвращения его за самовольную отлучку немедленно посадили в карцер, не принимая с его стороны никаких объяснений. Тогда Белинский, вместе с другим студентом, Чистяковым, собрал большинство казенных студентов в круглую залу университета и потребовал инспектора. Опасаясь крупных неприятностей за самоуправство, инспектор согласился освободить наказанного студента из карцера. Инцидент был улажен, но к Виссариону с тех пор начальство стало относиться подозрительно.

Во время холеры Белинский и еще человек пять студентов составили маленькое литературное общество. Каждый из них должен был прочитать другим какое-нибудь свое произведение. Виссарион давно уже задумал написать драму, героем которой был бы молодой человек, протестующий против крепостного рабства. Замысел этот созрел у него под непосредственным впечатлением от жизни чембарских помещиков и их крепостных людей. В письме родным по поводу своего сочинения он говорит: «Вы в нем увидите многие лица, довольно вам известные. Но вперед говорить нечего: когда напечатается, тогда имеющие уши слышать да слышат…»

Желающих послушать драму Белинского оказалось так много, что большая аудитория была переполнена. Виссарион нервной походкой, сутулясь, прошел к столу, развернул тетрадь и начал чтение. Его наружность носила следы сильного истощения. Вместо свежего, живого румянца юности на лице двадцатидвухлетнего автора был разлит какой-то красноватый оттенок, волосы на голове торчали хохлом, движения были резкие, голос хрипловатый.

Но слушатели не замечали ничего, увлеченные горячим одушевлением чтеца, его непримиримым протестом против уродливых явлений жизни николаевской России. «Неужели эти люди, — читал Белинский, — для того только родятся на свет, чтобы служить прихотям таких же людей, как и они сами?.. Кто дал это гибельное право одним людям порабощать своей власти волю других, подобных им существ, отнимать у них священное сокровище — свободу? Кто позволил им ругаться над правами природы я человечества? Господин может, для потехи или для рассеяния, содрать шкуру с своего раба, может продать его как скота, выменять на собаку, на лошадь, на корову, разлучить его на всю жизнь с отцом, с матерью, с сестрами, с братьями и со всем, что для него мило и драгоценно!.. Милосердный боже! Отец человеков! ответствуй мне: твоя ли премудрая рука произвела на свет этих змиев, этих крокодилов, этих тигров, питающихся костями и мясом своих ближних и пьющих, как воду, их кровь и слезы?»

Слушатели были потрясены. Такого страстного гнева против крепостничества русская литература, не, знала со времен книги Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву». Но всем было известно, что Радищев едва не поплатился жизнью за свою книгу. Что же ожидало молодого автора?

Когда в Чембаре были получены известия об окончании драмы «Дмитрий Калинин», родные стали уговаривать Виссариона «не спешить издавать оную», полагая, что неудача драмы «произойти может не от недостатков оной, а от необдуманности какой-нибудь или торопливости». Словом, родные Виссариона понимали, на какой опасный путь становится он.

Но меньше всего он думал о себе, о собственном благополучии, Перед его глазами всегда были примеры великих русских патриотов не щадивших собственной жизни для блага родного народа. Он спешил с опубликованием драмы.

Цензурный комитет в то время состоял из университетских профессоров, и когда Виссарион принес туда драму, ему сказали, чтобы он пришел за ответом через неделю.

Через неделю Белинский пришел опять в канцелярию и опросил о своем сочинении. Вместо ответа секретарь подбежал к ректору университета И. А. Двигубскому и сказал:

— Иван Алексеевич! Вот он, вот господин Белинский!

Двигубский, человек грубый и надменный, начал кричать, что сочинение Белинского безнравственно, бесчестит университет, и приказал составить о нем журнал.

— Имей в виду, — обратился он к Белинскому, — что о тебе

ежемесячно теперь будут подаваться мне особые донесенья. Да заметьте этого молодца, — прибавил он секретарю, — при первом случае его надобно выгнать!

Подавленный такой безобразной сценой, вернулся Виссарион к себе. Под свежим впечатлением он пишет отцу о случившемся. «В этом сочинении, — говорит он о своей драме, — со всем жаром сердца, пламенеющего любовью к истине, со воем негодованием души, ненавидящей несправедливость, я в картине довольно живой и верной представил тиранства людей, присвоивших себе гибельное и несправедливое право мучить себе подобных. Герой моей драмы есть человек пылкий, с страстями дикими и необузданными, его мысли вольны, поступки бешены, — и следствием их была его гибель. Вообще скажу, что мое сочинение не может оскорбить чувства чистейшей нравственности и что цель его есть самая нравственная… и все мои блестящие мечты обратились в противную действительность, горькую и бедственную… Лестная, сладостная мечта о приобретении известности, об освобождении от казенного кошта для того только ласкала и тешила меня, доверчивого к ее детскому, легкомысленному лепету, чтобы только усугубить мои горести». Письмо Виссариона произвело в Чембаре тягостное впечатление. Марья Ивановна готова была ответить сыну жесткими упреками за его неблагоразумие; но Григорий Никифорович удержал ее. В гордом восстании Виссариона против бесправия русской жизни отец увидел тот мужественный протест, на который у него самого нехватило мужества и силы.

Неудача не сломила Белинского. Он продолжал посещать лекции, попрежнему сохраняя свою независимость и чувство личного достоинства.

Русскую словесность в Московском университете преподавал тогда Победоносцев, сухой схоласт, совершенно чуждый передовым взглядам на значение литературы. Белинский терпеть не мог лекций Победоносцева. Как-то на одной лекции произошел такой случай: Победоносцев, по своему обыкновению, с азартом объяснял значение «хрии»[6] в литературных произведениях и вдруг неожиданно обратился к сидевшему перед ним Белинскому:

— Что ты, Белинский, сидишь так беспокойно, как будто на шиле, и ничего не слушаешь? Повтори-ка мне последние слова, на чем я остановился?

— Вы остановились на словах, что я сижу на шиле, — ответил Белинский под общий хохот студентов.

Весной 1831 года Виссарион Григорьевич тяжело заболел и не мог держать переходные экзамены на следующий курс. Он просил Голохвастова, исполнявшего тогда должность попечителя,

разрешить ему сдавать экзамены осенью. Голохвастов прямо не разрешил, но и не отказал, сказав: «Хорошо, посмотрим».

Приняв эти слова за согласие, Белинский, полубольной, проработал с половины мая до самого сентября, готовясь к экзаменам. Но к экзаменам его не допустили, а просто уволили из университета, мотивировав исключение «недостаточными успехами», «бессилием для продолжения наук» и «ограниченностью способностей».

Исключение Белинского из университета сильно взволновало студентов, которые с изумлением услышали, что Белинский «бессилен был продолжать учение по ограниченности способностей». Конечно, никто из них не подозревал тогда в нем будущего гениального критика, но все же выдающиеся способности Виссариона были очевидны для всех, знавших его.

Университетское начальство проявило такую мелочную враждебность к Белинскому, что не оставило ему даже казенного платья, которое обыкновенно предоставлялось всем выходящим из университета студентам, хотя нищета Виссариона ни для кого не была тайной.

Можно представить себе состояние самолюбивого, гордого юноши, с которым поступили так жестоко и несправедливо. Целые девять месяцев он скрывал от родных свое горе. Он написал матери 21 мая 1832 года, когда обстоятельства его, надо сказать, несколько уже прояснились: «Давно не писал я к вам; не знаю, в хорошую ли или дурную сторону толкуете вы мое молчание. Как бы то ни было, но на этот раз я желал бы не уметь ни читать, ни писать и даже чувствовать, понимать и жить!.. Девять месяцев таил я от вас свое несчастие, обманывал всех чембарских, бывших в Москве, лгал и лицемерил, скрепя сердце… но теперь не могу более. Ведь когда-нибудь надобно же узнать вам. Может даже быть, что вы уже знаете, может быть, вам сообщено это с преувеличениями, а вы — женщина и мать… Чего не надумаетесь вы? При одной мысли об этом сердце мое обливается кровью. Я потому так долго молчал, что еще надеялся хоть сколько-нибудь поправить свои обстоятельства, чтобы вы могли узнать об этом хладнокровнее… Я не щадил себя, употреблял все усилия к достижению своей цели, ничего не упускал, хватался за каждую соломинку и, претерпевая неудачи, не унывал и не приходил в отчаянье — для вас, только для вас. Я всегда живо помнил и хорошо понимал мои к вам отношения и обязанности, терпел все, боролся с обстоятельствами, сколько доставало сил, трудился и, кажется, не без успеха. Вот в чем дело… Вы, может быть, считаете по пальцам месяцы, недели, дни, часы и минуты, нас разделяющие; думаете с восхищением о том

времени, о той блаженной минуты, когда, нежданый и незваный, я, как снег на голову, упаду в объятия семейства кандидатом или, по крайней мере, действительным студентом!.. Мечта очаровательная! И меня обольщала она некогда! Но, увы! в сентябре исполнится год, как я *выключен из университета!!!* Предчувствую, что это будет вам стоить больших слез, тоски и даже отчаянья, — и это-то самое меня и сокрушает… Но, маменька, все-таки умоляю вас не отчаиваться и не убивать себя бесплодною горестью. Есть счастье и в несчастья, есть утешение и в горести, есть благо и в самом зле. Я видел людей в тысячу раз несчастнее себя и потому смеюсь над своим несчастием…»

В первое время по исключении из университета, предоставленный самому себе, Виссарион очутился в безысходной нужде. Он всюду искал уроков или литературной работы. Он купил на последние деньги французский роман в четырех частях и, как он говорит, «с великими трудами, просиживая иногда напролет целые ночи, во время дня не слезая с места, перевел его, в надежде приобрести рублей 800». Но и здесь судьба жестоко подшутила над ним: в газетах было объявлено о другом переводе этого самого сочинения!

Только в мае, незадолго до того, как он отправил свое письмо к матери, в маленьком московском журнальчике «Листок» напечатали его стихотворение «Русская быль» и заплатили ему первый гонорар. Стихотворение это было навеяно русским народным творчеством и весьма характерно для настроения молодого Белинского.

В том же «Листке» была напечатана небольшая заметка Белинского об одной брошюре, разбиравшей «Бориса Годунова» Пушкина. Виссарион немедленно послал журнал в Чембар.

Через редакцию журнала Белинский познакомился с Кольцовым, замечательным русским поэтом-самоучкой, который приезжал в это время в Москву из Воронежа по делам и напечатал в «Листке» несколько своих стихотворений.

С интересом и сочувствием слушал Белинский рассказ воронежского поэта о его грустной жизни. Восемнадцати лет отроду Кольцов полюбил крепостную горничную своих сестер Дуняшу, девушку красивую и умную. Она отвечала ему взаимностью. Зная крутой нрав своего отца, типичного купца-самодура, Кольцов скрывал от него свою любовь к крепостной девушке. Но отец догадался и, опасаясь, что сын женится на Дуняше вопреки его воле, отослал сына якобы по делам из Воронежа, а Дуняшу тем временем продал какому-то помещику на юг. Когда поэт вернулся домой и узнал об этом, он заболел горячкой и едва не умер. Выздоровев, Кольцов бросился

отыскивать свою любимую, но никаких следов ее найти не мог. Только впоследствии он узнал, что она не вынесла разлуки с ним и вскоре умерла в тяжелой неволе.

Белинский быстро сошелся с Кольцовым. Их объединяла общая ненависть к крепостничеству и желание работать для блага своего народа. Под влиянием Белинского Кольцов возненавидел также тесный мир мелких мещанских интересов, в котором ему приходилось вращаться дома. По-другому зазвучали его стихи, когда он сделался идейным учеником Белинского. Недаром многие знакомые Кольцова стали с тех пор отмечать в нем «страсть к пропаганде крайних идей Белинского».

В том же 1832 году Виссарион Григорьевич сблизился с университетским студенческим кружком Николая Станкевича. Исключительно талантливый человек, одаренный глубоким эстетическим чутьем, горячей любовью к искусству, большим и ясным умом, способным разбираться в самых отвлеченных вопросах, Станкевич объединил вокруг себя выдающихся представителей русской молодежи, из которых впоследствии многие прославили имя своей родины.

Соединяя блестящее остроумие с необычайно широкой эрудицией, Станкевич умел всякий спор поднять на высокий теоретический уровень, сделать предметом серьезных философских исканий и принципиальных решений. Николай Станкевич был человеком, облагораживающее влияние которого испытывал каждый, кто близко соприкасался с ним.

Белинский со всей страстью своей прямой увлекающейся натуры погрузился в научные и философские занятия кружка. Он никогда не останавливался на полдороге. Теория никогда не была для него самоцелью, он всегда стремился применить ее со всей беспощадной последовательностью к жизни. Недаром в кружке он быстро заслужил имя «неистового Виссариона».

СОТРУДНИК «ТЕЛЕСКОПА» И «МОЛВЫ»

Весной 1833 года Белинский лично познакомился с Надеждиным, помимо профессуры занимавшимся изданием московских журналов «Телескоп» и «Молва». Белинский очень ценил критические статьи Надеждина и знал их хорошо еще со времен своей гимназической жизни. Надеждин, в свою очередь, быстро сумел оценить выдающийся критический талант молодого Белинского и охотно привлек его к сотрудничеству в своих журналах.

Материальное положение Виссариона Григорьевича в то время было попрежнему тяжелым. По воспоминаниям одного из современников, Белинский жил тогда «в каком-то переулке между Трубой и Петровкой… Внизу жили и работали кузнецы. Пробираться к нему надо было по грязной лестнице; рядом с его каморкой была прачечная, из которой беспрестанно неслись к нему испарения мокрого белья и вонючего мыла. Каково было дышать этим воздухом, особенно ему, с слабой грудью! Каково было слышать за дверями упоительную беседу прачек и под собою стукотню от молотов русских циклопов, если не подземных, то подпольных! Не говорю о беднейшей обстановке его комнаты, не запертой… потому что в ней нечего было украсть».

Литературный заработок не только не спасал его от нужды, но даже не избавлял от систематических голодовок. Конечно, он легко мог бы найти для себя более доходную работу, но тогда пришлось бы ему сойти с того прямого, хотя и трудного пути, на котором он мог все свои силы отдавать на пользу родному народу. В этом он убедился, когда ему предложили вполне обеспеченное, выгодное место личного секретаря у одного вельможи. Требовалось только стилистически исправлять литературные упражнения знатного барина. Белинский подумал и согласился. И вот он поселился «в аристократическом доме, пользуется не только чистым, даже ароматическим воздухом, имеет… хороший стол, отличные вина, слушает музыку разных европейских знаменитостей (одна дочь его превосходительства — музыкантша), располагает — огромной библиотекой, будто собственной, — одним словом, катается, как сыр в масле. Но вскоре заходят тучи над этой блаженной жизнью. Оказывается, что за нее надо подчас жертвовать своими убеждениями, собственной рукой писать им приговоры, действовать против

совести. И вот в одно прекрасное утро Белинский исчезает из дома, начиненного всеми житейскими благами, исчезает с своим добром, завязанным в носовой платок, и с сокровищем, которое он носит в груди своей. Его превосходительству оставлена записка с извинением нижеподписавшегося покорного слуги, что он не сроден к должности домашнего секретаря»[7].

Так прошло почти два года. В конце 1834 года в журнале «Молва» стали печататься критические статьи Белинского под общим названием «Литературные мечтания (Элегии в прозе)». В этих статьях «неистовый Виссарион» со всей страстностью своего боевого темперамента изложил в виде стройной системы принципы литературной критики, усвоенные им в кружке Станкевича.

Вывод Белинского был тот, что у нас еще нет литературы, вполне способной выразить национальную идею России. «Надо сперва, — заключает он, — чтобы у нас образовалось общество, в котором бы выразилась физиономия могучего русского народа; надобно, чтобы у нас было просвещение, созданное нашими трудами, взращенное на родной почве… Придет время, (просвещение разольется в России широким потоком, умственная физиономия народа выяснится, и тогда наши художники и писатели будут на все свои произведения налагать печать русского духа».

«Не забывай, — обращается он к читателю, — что жизнь есть действование, а действие есть борьба… подави свой эгоизм, попри ногами свое корыстное «я», дыши для счастия других, жертвуй всем для блага ближнего, родины, для пользы человечества».

«Литературные мечтания» обратили на молодого критика внимание всей мыслящей России. Никто до него с такой страстью и любовью не предъявлял требования к искусству быть народным, никто не показал так ясно на связь литературы с общественной жизнью, и никто не говорил с такой непоколебимой уверенностью о великом будущем русской литературы.

Весной 1835 года Надеждин уехал за границу и на время своего отсутствия передал редактирование журналов в руки Белинского. Под редакцией «неистового Виссариона» оба журнала — «Телескоп» и «Молва» — быстро превратились в наиболее читаемые и влиятельные печатные органы. Какое действие производили статьи молодого критика даже на ту часть публики, которая не сразу признала его авторитет, можно судить по воспоминаниям И. С. Тургенева, бывшего в то время студентом Петербургского университета. «В одно утро, — рассказывает Тургенев, — зашел ко мне студент-товарищ и с негодованием

сообщил мне, что в кондитерской Беранже появился номер «Телескопа» с статьей Белинского, в которой этот «критикан» осмеливался заносить руку на наш общий идол, на Бенедиктова. Я немедленно отправился к Беранже, прочел всю статью от доски до доски — и, разумеется, также воспылал негодованием. Но — странное дело! — и во время чтения, и после, к собственному моему изумлению и даже досаде, что-то во мне невольно соглашалось с «критиканом», находило его доводы убедительными… неотразимыми. Я стыдился этого, уже точно неожиданного впечатления, я старался заглушить в себе этот внутренний голос; в кругу приятелей я с большей еще резкостью отзывался о самом Белинском и об его статье… но в глубине души что-то продолжало шептать мне, что он был прав».

Так Белинский завоевывал единомышленников среди лучшей части русской молодежи, разоблачая перед нею мишурные авторитеты, заставляя требовать от литературы смелости и правды.

Вернувшийся в 1836 году из-за границы Надеждин сумел оценить огромную работу, проделанную Белинским в журналах, и дал ему возможность немного отдохнуть и подкрепить свои силы в течение осени.

Свой отпуск Виссарион Григорьевич провел в деревне Прямухино Тверской губернии у Михаила Бакунина, с которым сблизился перед тем в кружке Станкевича.

Бакунин был выдающимся человеком. Молодой офицер, он 22 лет вышел в отставку и занялся философией. Натура не менее энергичная и боевая, чем Белинский, Бакунин за всякое дело принимался со страстью и самозабвением. В то время он увлекался философией и заразил своим увлечением «неистового Виссариона».

Прямухино, но словам И. И. Лажечникова, «представляло собой уголок, на котором природа сосредоточила всю заботливую любовь свою, украсив его всеми лучшими дарами своими… Кажется, на этой живописной местности река течет игривее, цветы и деревья растут роскошнее, и более тепла, чем в других соседних местностях. Да и семейство, жившее в этом уголке, как-то особенно награждено душевными дарами. Зато как было тепло в нем сердцу, как ум и талант в нем разыгрывались, как было в нем привольно всему доброму и благородному. Художник, музыкант, писатель, учитель, студент или просто добрый и честный человек были в нем обласканы равно, несмотря на состояние и рождение. Казалось, бедности-то и отдавали в нем первое место. Посетители его, всегда многочисленные, считали себя в нем не гостями, а принадлежащими к семейству. Душою

дома был глава его, патриарх округа[8]. Как хорош был этот величавый, с лишком семидесятилетний старец, с непокидающей его улыбкою, с белыми падающими на плечи волосами, с голубыми глазами, ничего не видящими, как у Гомера, но с душою, глубоко зрящею, среди молодых людей, в кругу которых он особенно любил находиться и которых не тревожил своим присутствием. Ни одна свободная речь не останавливалась от его прихода. В нем забывали лета, свыкнувшись только с его добротою и умом.

Он учился в одном из знаменитых в свое время итальянских университетов, служил недолго, не гонялся за почестями, доступными ему по рождению и связям его, дослужился до неважного чина и с молодых лет поселился в своей деревне, под сенью посаженных его собственною рукою кедров. Только два раза вырывали его из сельского убежища обязанности по званию губернского предводителя дворянства и почетного попечителя гимназии. Он любил все прекрасное — природу, особенно цветы, литературу, музыку, и лепет младенца в колыбели, и пожатие нежной руки женщины, и красноречивую тишину могилы. Что любил он, то любила его жена, умная и приятная женщина, любили дети, сыновья и дочери. Никогда семейство не жило гармоничнее…

Откуда, с каких концов России не стекались к нему посетители! Сюда вместе с Станкевичем, Боткиным и многими другими даровитыми молодыми людьми не мог не попасть и Белинский».

В Прямухине Белинский с помощью своего друга Михаила Бакунина заинтересовался философией немецкого философа-идеалиста Фихте. Привлекла Белинского у Фихте проповедуемая им идея «личного совершенствования». Но это увлечение Белинского было кратковременным. Великий русский критик понял, что для Фихте эта идея служит средством увода от живой, реальной действительности. И Белинского вообще не могла удовлетворить реакционная прусско-националистическая философия Фихте, доходившего, например, до таких утверждений: «Только у немца, как человека самобытного, не застывшего в определенных формах, поистине есть свой народ; у иностранца нет его. Поэтому только у немца может быть любовь к своему народу, любовь к родине в истинном смысле этого слова». Пламенный русский патриот, Белинский, естественно, должен был отвергнуть такую «философию», исключавшую из общего развития все народы, кроме немецкого. В своих страстных поисках истины Белинский руководился прежде всего стремлением поставить философию на службу народу,

страдающему от гнета крепостнического режима.

Отвергнув Фихте, Белинский в своих философских исканиях, не мог пройти мимо пользовавшегося тогда большим влиянием учения крупнейшего немецкого философа-идеалиста Гегеля.

В сложной философии Гегеля было две стороны: диалектический метод и окостенелая, застывшая «система». «Если *диалектический метод* Гегеля содержал в себе «рациональное зерно» — учение о развитии — и был прогрессивной стороной философии Гегеля, то его идеалистическая догматическая *система* была консервативной, требовала прекращения развития и находилась в резком противоречии с диалектическим методом»[9].

Провозглашая свою философию абсолютной, го есть окончательной, истиной, Гегель тем самым должен был сам, по словам Ф. Энгельса, «стать в противоречие с его диалектическим методом, разлагающим все догматическое. И не только в области философского познания, но и по отношению к исторической практике»[10].

Диалектический метод требовал признания необходимости бесконечного движения вперед. А Гегель объявил свое крайне идеалистическое учение об «абсолютном духе» последней истиной и в прусском казарменном государстве увидел осуществление идеальной цели всего всемирно-исторического процесса развития человечества. Всякий протест и борьба против такой «абсолютной», «разумной» действительности должны были быть, по учению Гегеля, осуждены. Самая диалектика у Гегеля была тоже идеалистической.

Увлеченный положительными сторонами учения Гегеля, огромным количеством фактов, введенных философом в круг своего рассмотрения, внешней стройностью его рассуждений, Белинский — на какое-то короткое время — не разглядел реакционного прусского шовинизма за знаменитым тезисом Гегеля: «Что разумно, то действительно, и что действительно, то разумно». Со всей страстностью своей натуры Белинский, не признававший половинчатых решений, сделал из этого тезиса логический вывод, придя — на недолгий срок — к тому странному примирению с действительностью, за которое потом так беспощадно упрекал себя сам.

В Прямухинне Белинский познакомился с сестрой Михаила Бакунина Александрой Александровной и влюбился в нее. Хотя чувство его осталось не разделенным, он мужественно перенес эту неудачу. «Мне было хорошо, — вспоминал он потом о прямухинской жизни, — так хорошо, как и не мечталось до того времени… Я ощутил себя в новой сфере, увидел себя в новом

мире: окрест меня все дышало гармонией и блаженством, и эта гармония и блаженство частью проникли и в мою душу. Я увидел осуществление моих понятий о женщине… Когда все собирались в гостиной, толпились около рояля и пели хором, в этих хорах я думал слышать гимн восторга и блаженства усовершенствованного человечества, и душа моя замирала, можно сказать, в муках блаженства, потому что б моем блаженстве, от непривычки ли к нему, от недостатка ли гармонии в душе, было что-то тяжкое, невыносимое, так что л боялся моими дикими движениями обратить на себя общее внимание».

В таком состоянии Белинский уехал из Прямухина в Москву, где его ожидал новый тяжелый удар. В отсутствие Виссариона Григорьевича Надеждин напечатал в «Телескопе» философское письмо Чаадаева[11]. Это письмо было проникнуто глубочайшим критицизмом по отношению к реакционному самодержавию и подняло настоящую бурю в читательских кругах. Правительство Николая I не замедлило расправиться с автором, официально объявив его сумасшедшим и посадив в дом умалишенных. Надеждин, как издатель журнала, где было напечатано письмо, был выслан из Москвы, а журнал был закрыт. Не избежал неприятностей и Белинский. Его арестовали на заставе при въезде в Москву, привезли в полицию и подвергли тщательному обыску. Но так как в его бумагах «ничего сомнительного не оказалось», Виссариона Григорьевича отпустили домой. Зато журнальная деятельность Белинского была прервана надолго. Впереди снова виднелась черная нужда, полуголодное существование.

В эти тяжелые дни Белинского нравственно поддержал Пушкин. Великий поэт давно уже пристально следил за деятельностью молодого критика. Начав издание журнала «Современник» в 1836 году, Пушкин распорядился регулярно высылать Белинскому выходящие номера журнала. Больше того, Пушкин думал привлечь Белинского к сотрудничеству в «Современнике». Теперь, когда «Телескоп» был закрыт и Виссарион Григорьевич остался без работы, Пушкин посылает своему другу Нащокину письмо в Москву, в котором просит его переговорить о сотрудничестве с Белинским. Письмо Пушкина, к сожалению, не сохранилось, но ответ на это письмо Нащокина имеется. «Белинский, — сообщает Нащокин, — получал от Надеждина, чей журнал уже запрещен, три тысячи. «Наблюдатель» предлагал ему пять. Греч[12] тоже его знал. Теперь, коли хочешь, он к твоим услугам, я его не видел, но его друзья, в том числе и Щепкин (великий русский артист. — *Н. В.*), говорят, что он будет очень счастлив, если придется ему на тебя

работать. Ты мне отпиши, и я его к тебе пришлю».

Но сотрудничество Пушкина с Белинским не состоялось из-за внезапной, трагической гибели поэта: в начале 1837 года Пушкин был убит на дуэли. Как перенес Белинский смерть величайшего русского поэта, легко понять, зная отношение Виссариона Григорьевича к творчеству Пушкина. Через пять лет, когда смерть Пушкина отошла уже в прошлое, Белинский писал Гоголю: «Я не заношусь слишком высоко, но, признаюсь, и не думаю о себе слишком мало; я слышал похвалы себе от умных людей и, что еще лестнее, имел счастье приобрести себе ожесточенных врагов; и все-таки больше всего этого меня радует доселе и всегда будет радовать, как лучшее мое достояние, несколько приветливых слов, сказанных обо мне Пушкиным и, к счастию, дошедших до меня из верных источников, и я чувствую, что это не мелкое самолюбие с моей стороны, а то, что я понимаю, что такое человек, как Пушкин, и что такое одобрение со стороны такого человека, как Пушкин».

Еще при жизни великого поэта, в первой крупной своей работе «Литературные мечтания», Белинский писал о Пушкине: «Как чародей, он в одно и то же время исторгал у нас и смех и слезы, играл по воле нашими чувствами… Он пел, и как изумлена была Русь звуками его песен; и не диво: она еще никогда не слыхала подобных; как жадно прислушивалась она к ним; и не диво: в них трепетали все нервы ее жизни! Я помню это время, счастливое время, когда в глуши провинции, в глуши уездного городка, в летние дни, из растворенных окон носились по воздуху эти звуки, «подобные шуму волн» или «журчанию ручья».»

Никто не сумел лучше Белинского показать все обаяние, силу и глубину пушкинского стиха, отметив, что «все акустическое богатство, вся сила русского языка явились в нем в удивительной полноте: он нежен, сладостен, мягок, как ропот волны, тягуч и густ, как смола, ярок, как молния, прозрачен и чист, как кристалл, душист и благовонен, как весна, крепок и могуч, как удар меча в руке богатыря. В нем и обольстительная, невыразимая прелесть и грация, в нем ослепительный блеск и кроткая влажность, в нем все богатство мелодии и гармония языка и рифм; в нем вся нега, все упоение творческой мечты, поэтического выражения».

После смерти поэта Белинский отдал всю силу своего гения, чтобы разъяснить России значение Пушкина. В статьях, которые, по справедливости, можно назвать вечным памятником славы нашего великого поэта, он писал: «Общий колорит поэзии Пушкина, и в особенности лирической, — внутренняя красота человека и лелеющая душу гуманность. К этому прибавим мы, что

если всякое человеческое чувство уже прекрасно по тому самому, что оно человеческое (а не животное), то у Пушкина всякое чувство еще прекрасно, как чувство изящное. Мы здесь разумеем не поэтическую форму, которая у Пушкина всегда в высшей степени прекрасна: нет, каждое чувство, лежащее в основании каждого его стихотворения, изящно, грациозно и виртуозно само по себе: это не просто чувство человека, но чувство человека-художника, человека-артиста. Есть всегда что-то особенно благородное, кроткое, нежное, благоуханное и грациозное во всяком чувстве Пушкина. В этом отношении, читая его творения, можно превосходным образом воспитать в себе человека, и такое чтение особенно полезно для молодых людей обоего пола. Ни один ив русских поэтов не может быть столько, как Пушкин, воспитателем юношества, образователем юного чувства. Поэзия его чужда всего фантастического, мечтательного, ложного, призрачно идеального; она вся проникнута насквозь действительностью; она не кладет на лицо жизни белил и румян, но показывает ее в ее естественной, истинной красоте; в поэзии Пушкина есть небо, но им всегда проникнута земля».

Со смертью Пушкина Белинский почувствовал себя осиротевшим. В ушах его продолжали звучать слова другого поэта, еще неизвестного, но заговорившего властно, как наследник Пушкина:

Замолкли звуки чудных песен,
Не раздаваться им опять;
Приют певца угрюм и тесен,
И на устах его печать!

БЕЗ КОМПРОМИССОВ

А материальное положение Белинского становилось все хуже. Он, правда, имел несколько предложений сотрудничать в журналах, чуждых ему по взглядам, но предпочитал, по его собственным словам, не только «лучше молчать и нуждаться, но даже и сгинуть со свету, нежели говорить не то, что думаешь, и спекулировать на свои убеждения».

Единственной его надеждой в этом бедственном положении было издание научной грамматики, которую он написал. В апреле 1837 года книга была дозволена цензурой, и Белинский представил ее в Московский учебный округ для напечатания на казенный счет, как школьное пособие. Но и тут его ждала неудача. Несмотря на научную ценность его грамматики, она была признана неподходящим учебником, и в печатании ее на казенный счет ему было отказано. Тогда Белинский решил действовать сам. Он занял у друзей необходимую сумму денег и отпечатал, около двух с половиной тысяч экземпляров грамматики на свой счет.

Непрерывные лишения и заботы надломили и без того слабое здоровье Виссариона Григорьевича. Он тяжело заболел. Врачи потребовали немедленной поездки на Кавказ для лечения. Пришлось бросить все дела, занять еще небольшую сумму денег и срочно выехать из Москвы. В июне он уже был в Пятигорске.

Лечение водами оказало на него благотворное действие. Друзьям в Москву он пишет бодрые письма: «Сейчас пришел с вод, устал, как собака; в Пятигорске довольно весело; природа прекрасна; зрелище гор — очаровательно, особливо в ясный день, когда видны снеговые горы и между ними двуглавый Эльбрус, который я каждое ясное утро вижу из окна моей комнатки. Бештау от Пятигорска в 8 верстах, но кажется, что до него нет и 20 сажен. Какая бездна ягод — клубники и земляники; носят ведрами. Идешь по горе и давишь ногами землянику, а есть нельзя — такая досада!»

В Пятигорске Белинский встретился с Лермонтовым, сосланным на Кавказ за стихотворение на смерть Пушкина. Встреча их была очень сердечной, они вспомнили времена московской студенческой жизни, затем перешли к более далекому прошлому, к детству. Оказалось, что оба они чембарцы, стало быть земляки. Заговорили о «прелестях» провинциальной жизни. Лермонтов едко и остроумно вышучивал узость интересов провинциальной публики, их мещанство и консерватизм. Белинский, стремясь оправдать разумность действительности,

заявил, что можно и в провинции быть образованным, передовым человеком, что еще в XVIII веке многие русские помещики, жившие в уединенных усадьбах, знали чуть не наизусть французских энциклопедистов и Вольтера. Тогда Лермонтов, не скрывая иронии, сказал: «Да я вот что скажу вам о вашем Вольтере: если бы он явился теперь к нам в Чембар, то его ни в одном «порядочном» доме не взяли бы в гувернеры».

Резкая реплика поэта рассердила Белинского. Он в течение нескольких секунд молча смотрел на Лермонтова, потом, считая излишним продолжать разговор в таком тоне, надел на голову фуражку и, едва кивнув на прощанье, вышел из комнаты.

Белинский не искал больше встреч с Лермонтовым и с неудовольствием говорил о желчном характере поэта. Но когда через некоторое время ему дали прочесть только что законченную на Кавказе поэму Лермонтова «Песнь о купце Калашникове», он почувствовал искренний восторг от гениальной силы этого подлинно народного произведения. «В этой поэме, — заявил Белинский, — поэт от настоящего мира не удовлетворяющей его русской жизни перенесся в ее историческое прошедшее, подслушал биение его пульса, проник в сокровеннейшие и глубочайшие тайники его духа, сроднился и слился с ним всем существом своим, обвеялся его звуками, усвоил себе склад его старинной речи, простодушную суровость его нравов, богатырскую силу и широкий размет его чувства, как будто современник этой эпохи, принял условия ее грубой и дикой общественности, со всеми их оттенками, как будто бы никогда и не знавал о других, — и вынес из нее вымышленную боль, которая достовернее всякой действительности, несомненнее всякой истории».

Непрерывное горение мысли спасало Белинского от отчаяния, в которое впал бы менее, сильный человек под непрерывными ударами неудач личной жизни. «Я бы выздоровел и душевно и телесно, — признавался он в это время, — если бы будущее не стояло передо мною в грозном виде, если бы приезд мой в Москву был обеспечен. Вот что меня убивает и иссушает во мне источник жизни». Он получил известие, что сбыт грамматики идет плохо. Он устал от нищеты, от необходимости каждую минуту думать о куске насущного хлеба. Из его измученной груди вырвался почти крик отчаянья: «Если грамматика решительно не пойдет, то обращаюсь к чорту, как Громобой, и продаю мою душу с аукциона Сенковскому, Гречу или Плюшару»[13].

Но он тотчас же возмущается своей минутной слабостью: «… не хочу продавать себя с аукциона… Беда, да и только! Нет никакого выхода. Или продал свое убеждение… или умирай с

голоду… Это становится невыносимо. Я боюсь или сойти с ума, или сделаться пошлым человеком».

В таком нравственном состоянии Белинский в начале сентября 1837 года выехал из Пятигорска в Москву, закончив курс лечения, но не закончив своего счета с жестокой нуждой.

Только к весне 1838 года материальное положение Белинского несколько улучшилось. К этому времени он стал фактическим редактором журнала «Московский наблюдатель». Но это улучшение было весьма относительным. Издатель журнала Степанов платил Виссариону Григорьевичу всего 80 рублей ассигнациями[14] в месяц, да и то неаккуратно. Журнал расходился плохо: читателей не удовлетворяли статьи, написанные в духе «примирения с действительностью».

Белинский принадлежал к числу тех людей, для которых никакая практика невозможна без освещающей ее теории. Недаром один из современников его метко сказал о нем: «Белинский был одной из высших философских организаций, какие я когда-либо встречал в жизни».

Хотя Белинский по вопросу о «разумной действительности» жестоко ошибался, тем не менее последовательность его взглядов была беспощадна. Его не останавливали никакие крайние выводы, поскольку он считал основной ход рассуждения правильным. Он выводил все нравственные основы своего поведения из тех философских принципов, в истине которых был убежден с присущей ему всепоглощающей страстью.

В 1839 году издание «Московского наблюдателя» прекратилось из-за недостатка подписчиков. Но Белинскому даже ни разу не пришла в голову мысль изменить тон или характер своих статей.

Он опять очутился без средств к жизни. Печататься было негде, пришлось взять место учителя в Московском межевом институте. Педагогическая работа на первых порах увлекла его. Он считал ее «великой и благодатной своими следствиями для общества. Пока есть сила, — заявляет он, — я сам решаюсь на все, чтобы принести на алтарь общественного блага и свою лепту». В течение ряда месяцев он беззаветно работает учителем, вкладывая в это дело все свое горячее сердце и весь свой творческий ум. Наконец наступила пора экзаменов, когда можно было увидеть результаты такой самоотверженной работы. «Я ожидал своего экзамена, — рассказывает Виссарион Григорьевич, — без робости, без беспокойства, сделал его со всем присутствием духа, смело, хорошо; попечитель меня обласкал, я говорил с ним и — не узнавал самого себя… Да, действительность вводит в действительность. Смотря на каждого

не по ранее заготовленной теории, а по данным, им же самим представленным, я начинаю уметь становиться к нему в настоящие отношения, и потому мною все довольны, и я всеми доволен». Так пытался он претворить в жизнь свое философское примирение с русской действительностью.

Педагогическая деятельность могла быть только временным этапом в жизни Белинского. Его страстная натура бойца жаждала широкой пропаганды любимых идей, журнальных битв, теоретических споров. Он стремится вернуться к литературе. Но в Москве ему печататься негде. Его тянет теперь в Петербург, где больше журналов, где находится главный центр умственной жизни страны.

Издатель петербургского журнала «Отечественные записки» Краевский через своего сотрудника писателя Панаева уже делал запросы Виссариону Григорьевичу о возможности совместной работы. В апреле 1839 года Панаев лично приехал в Москву, чтобы договориться с Белинским.

Белинский в то время жил в узеньком глухом переулке недалеко от Никитского бульвара, в деревянном одноэтажном домике, вросшем в землю, с окнами почти наравне с тротуаром. Панаев, желая произвести впечатление на Белинского, подкатил к этому скромному домику в экипаже, запряженном четверкой лошадей, наполнив громом и шумом весь маленький тихий переулок.

Встревоженный таким непривычным грохотом, Виссарион Григорьевич, лежавший до этого дома на диване с книжкой в руках, выглянул в окно и увидел прежде всего шестнадцать лошадиных ног и модный экипаж за ними, из которого вылезал молодой франтик, одетый в черное пальто, с черным модным цилиндром на голове. Рассердившись, что ему помешали читать, Белинский резко захлопнул окно.

Панаев, и сам сконфуженный своим эффектным появлением, смущенно прошел по тротуару и через заросший травой дворик к крыльцу дома. Там он неуверенно постучал в дверь. Ему открыл сам Виссарион Григорьевич. «Передо мною, — рассказывал Панаев, — стоял человек среднего роста, лет около тридцати на вид, худощавый, бледный, с неправильными, но строгими и умными чертами лица, с тупым носом, с большими серыми выразительными глазами, с густыми белокурыми, но не очень светлыми волосами, падавшими на лоб, — в длинном сюртуке, застегнутом накриво. В выражении лица и во всех его движениях было что-то нервическое и беспокойное…

— Кого вам угодно? — спросил он немного сердитым голосом, робко взглянув на меня.

— Виссариона Григорьевича. — Я такой-то. (Я назвал свою фамилию.) Голос мой дрожал.

— Пожалуйте сюда… Я очень рад… — произнес он довольно сухо и с замешательством и из темной маленькой передней повел меня в небольшую комнатку, всю заваленную бумагами и книгами. Мебель этой комнатки состояла из небольшого дивана с износившимся чехлом, высокой и неуклюжей конторки, подкрашенной под красное дерево, и двух решетчатых таких же стульев.

— Пожалуйста, садитесь. — Он указал мне на диван. — Давно ли вы в Москве?

— Я только вчера приехал.

Затем последовало несколько минут неловкого молчания. Белинский как-то жался на своем стуле. Я преодолел свою робость и заговорил с ним о нашем общем знакомом — поэте Кольцове. Белинский очень любил Кольцова.

— Ваши петербургские литераторы, — заметил он мне, между прочим, с улыбкою, — принимали Кольцова с высоты своего величия и с тоном покровительства, а он нарочно прикинулся перед ними смиренным и делал вид, что преклоняется перед их авторитетами; но он видел их насквозь, а им и в голову не приходило, что он над ними исподтишка подсмеивается.

Я просидел у него с полчаса… Разговор шел вяло.

Я встал с дивана в надежде, что Белинский удержит меня, но он не удерживал. Мне показалось даже, что он был доволен тем, что я отправляюсь. Он проводил меня до двери, сказав, что непременно зайдет ко мне на-днях.

Я вышел за ворота и пошел пешком. Мне стыдно уже было садиться в мою карету, запряженную четверкою, и я приказал ей следовать за мною. «Только, пожалуйста, без шума и грома», сказал я кучеру, который посмотрел на меня с удивлением».

Через дня два после этой встречи Белинский зашел к Панаеву. На этот раз они дружески разговорились. Виссарион Григорьевич сообщил Панаеву, что на-днях переезжает на новую квартиру в доме № 10 по Арбату и пригласил на новоселье своего нового знакомого с женой.

Панаев с женой, квартировавшие также на Арбате, охотно согласились.

После переезда на новую квартиру у Белинского осталось всего тридцать рублей ассигнациями в кармане. Тем не менее он накупил цветов и уставил ими всю комнату. Когда пришли Панаев с женой, им показалось, что они попали в оранжерею. Белинский, улыбаясь, спросил своих гостей:

— Что, хорошо?.. А каковы лилии? Весело будет работать, не буду видеть из окна грязного двора.

Любуясь лилиями, жена Панаева сказала:

— А должно быть, вам дорого стоило так украсить свою комнату?

Белинский вспыхнул (он при малейшем волнении всегда мгновенно краснел).

— Ах, зачем вы меня спросили об этом? — с досадой воскликнул он. — Вот и отравили мне все; я теперь вместо наслаждения буду казниться, смотря на эти цветы.

— Почему будете казниться? — спросил Панаев.

— Да разве можно такому пролетарию, как я, дозволять себе такую роскошь! У меня, батюшка, страсть к цветам. Я зашел сегодня утром в цветочный ряд и соблазнился. Последние тридцать рублей отдал… Завтра уж мне форменно есть нечего будет.

Панаев заговорил о том, что ему хотелось бы привлечь Белинского к сотрудничеству в «Отечественных записках».

— Я охотно переехал бы в Петербург, — сказал Белинский, — и взял бы на себя весь критический отдел журнала, если бы мог получить три тысячи ассигнациями. Неужели же я не стою этой платы? А здесь я решительно не могу оставаться, мне просто здесь грозит голодная смерть.

Через Панаева Белинский договорился с Краевским сотрудничать на следующих условиях: Краевский должен был выслать Виссариону Григорьевичу к осени незначительную сумму денег на уплату долгов и на дорогу и обязался платить ему 3500 рублей ассигнациями в год, с тем чтобы Белинский принял на себя весь критический и библиографический отдел журнала.

В ПЕТЕРБУРГЕ

Перед отъездом Белинского в Петербург в Москву вернулся из ссылки Александр Иванович Герцен. Они знали друг друга еще со времен студенческой их жизни. Но отношение Белинского, как и всего кружка Станкевича, к Герцену и его друзьям было в то время весьма сдержанное. Друзья Белинского по преимуществу занимались философией, а друзья Герцена — политическими вопросами. Кружок Герцена был потом разгромлен правительством, и участники его разосланы в отдаленные места. Теперь, когда Герцен возвратился, встреча его с Белинским была необходима для обоих.

«Белинский, — рассказывает об этой встрече Герцен, — самая деятельная, порывистая, диалектически-страстная натура бойца, проповедывал тогда индийский покой созерцания и теоретическое изучение вместо борьбы. Он веровал в это воззрение и не бледнел ни перед каким последствием, не останавливался ни перед моральным приличием, ни перед мнением других, которого так страшатся люди слабые и несамобытные; в нем не было робости, потому что он был силен и искренен; его совесть была чиста.

— Знаете ли, что с вашей точки зрения, — сказал я ему, думая поразить его моим революционным ультиматизмом, — вы можете доказать, что чудовищное самодержавие, под которым мы живем, разумно и должно существовать.

— Без всякого сомнения, — отвечал Белинский и прочел мне «Бородинскую годовщину» Пушкина.

Этого я не мог вынести, и отчаянный бой закипел между нами… Размолвка наша действовала на других, круг распадался на два стана. Бакунин хотел примирить, объяснить, заговорить, но настоящего мира не было. Белинский, раздраженный и недовольный, уехал в Петербург и оттуда дал по нас последний яростный залп в статье, которую так и назвал «Бородинской годовщиной».

В ноябре 1839 года Виссарион Григорьевич был уже в Петербурге и поселился на Грязной улице, близ Семеновских казарм, в деревянном двухэтажном доме, в котором занял одну комнату. Здесь он закончил статью «Бородинская годовщина», о которой упоминает Герцен.

Перед тем как напечатать статью в «Отечественных записках», Белинский прочел ее Панаеву.

— Послушайте-ка, — сказал он, придя к Панаеву, — кажется, мне еще до сих пор не удавалось ничего написать так горячо и

так решительно высказать мои убеждения… Да что много говорить, я сам чувствую, что статейка вытанцовалась».

Он начал в волнении ходить по комнате.

— Да, это мои убеждения, — продолжал он, разгорячаясь все более и более. — Я не стыжусь, а горжусь ими… И что мне дорожить мнением и толками чорт знает кого? Я только дорожу мнением людей развитых и друзей моих… Они не заподозрят меня в лести и подлости. Против убеждения никакая сила не заставит меня написать ни одной строчки… Они знают это. Подкупить меня нельзя. Клянусь вам — вы ведь меня еще мало знаете…

Он подошел вплотную к Панаеву. Бледное лицо его горело, вся кровь прилила к голове. «Клянусь вам, что меня нельзя подкупить ничем!.. Мне легче умереть с голоду — я и без того рискую этак умереть каждый день (и он улыбнулся с горькой иронией), чем растоптать свое человеческое достоинство, унизить себя перед кем бы то ни было или продать себя… Эта статья резка, — я знаю; но у меня в голове ряд статей, еще более резких…»

Действительно, статья эта вызвала целую бурю. Даже друзья «неистового Виссариона» невольно задумались. Герцен решительно прервал с ним всякие отношения. Бакунин чувствовал, что революционный такт не позволяет ему согласиться со статьей — «неистового Виссариона». Белинский упрекал своих друзей в непоследовательности и доходил до таких крайностей, что пугал своих собственных приятелей и почитателей.

Между тем уже первые впечатления от петербургской жизни должны были показать Белинскому, как далека она от «разумности» и как мало можно было «примиряться» с ней. «Питер навел на меня апатию, уныние и чорт знает что… — признавался сам Виссарион Григорьевич, — ибо Питер имеет необыкновенное свойство оскорбить в человеке все святое и заставить в нем выйти наружу все сокровенное. Только в Питере человек может узнать себя — человек он, получеловек или скотина: если будет страдать в нем — человек, если Питер полюбится ему — будет или богат, или действительным статским советником».

В Петербурге того времени особенно остро бросались в глаза противоречия русской жизни. «Меня убило, — говорит Белинский, — это зрелище общества, в котором властвуют и играют роль подлецы и дюжинные посредственности, а все благородное и даровитое лежит в позорном бездействии… Любовь мол к родному, к русскому стала грустнее — это уже не

прекраснодушный энтузиазм, но страдальческое чувство. Все субстанциальное[15] в нашем народе велико, необъятно, но определение гнусно, грязно! и подло». Употребляя эту гегелевскую терминологию, Белинский противопоставлял великую сущность русского народа гнусным условиям николаевской действительности.

Белинский страстно любил русский народ и верил в его великое будущее; тем сильнее страдал он, видя жестокости крепостного режима, произвол самодержавия и издевательство над человеческим достоинством в родной стране. Только литература русская поднимала тогда голос в защиту обездоленного и замученного народа. Белинский сознавал это и говорил с болезненным и вместе радостным, гордым удовлетворением: «Я литератор… литературе российской моя жизнь и моя кровь».

Понятно, что «примирение с действительностью» в таких условиях не могло продолжаться бесконечно. Он сам замечает это. «Я ужасно изменяюсь, — пишет он через некоторое время друзьям в Москву, — но это не страшит меня, ибо с пошлою действительностью я все более и более расхожусь, в душе чувствую больше жара и энергии, больше готовности умереть и пострадать за свои убеждения… Боже мой, сколько отвратительных мерзостей сказал я печатно, со всей искренностью, со всем фанатизмом дикого убеждения! Тяжело и больно вспомнить!..»

Еще резче говорит он в другом письме: «Проклинаю мое гнусное стремление к примирению с гнусной действительностью!.. Боже мой, что со мной было — горячка или помешательство ума — я словно выздоравливающий». И наконец: «Я имею особенно важные причины злиться на Гегеля, ибо чувствую, что был верен ему (в ощущении), мирясь с российской действительностью… Благодарю покорно, Егор Федорович (Гегель. — *Н. В.*), кланяюсь вашему философскому колпаку; но со всем подобающим вашему философскому филистерству уважением честь имею донести вам, что если бы мне и удалось взлезть на верхнюю ступень лестницы развития, — я и там попросил бы вас отдать мне отчет во всех жертвах условий жизни и истории, во всех жертвах случайностей, суеверия, инквизиции, Филиппа II и пр. и пр.; иначе я с верхней ступени бросаюсь вниз головою. Я не хочу счастья и даром, если не буду спокоен насчет каждого из моих братий по крови».

Белинский не случайно оговаривается: я был верен ему (Гегелю) — «в ощущении». Потому что никогда он рабски не учился у Гегеля. То был тоже только этап в философских

исканиях Белинского. Изучая, осваивая и преодолевая западную философию своего времени, Белинский шел к выработке собственных философских воззрений. И эти воззрения не были ни шеллингианством, ни фихтеанством, ни гегельянством и т. п., но самостоятельными взглядами Белинского. Вот как характеризует замечательную особенность этих взглядов историк русской литературы Пыпин: «Историческая заслуга Белинского в том и заключается, что он понимал свою философию не как школьную теорию, не причастную к жизни, а, напротив, переживал ее как догмат, как жизненную истину в полном ее применении».

Отказ от «примирения с действительностью», естественно, должен был опять сблизить «неистового Виссариона» с его революционными друзьями. Весной 1840 года в Петербург приехал Герцен и сам отправился к Белинскому, который тогда жил на другой квартире, в одном доме с Панаевым.

Когда Белинскому сообщили о приезде Герцена, он быстро поднялся ему навстречу и обратился к Панаеву, в то время находившемуся у него, со словами: «Вот вы увидите наконец его! Это человек замечательный и блестящий!!»

Через минуту вошел Герцен. Он был среднего роста, довольно плотный, с темными волосами, подстриженными под гребенку. Тогда ему было лет двадцать восемь. Черты лица Герцена были приятны и правильны, лицо одушевлено необыкновенным блеском и живостью карих глаз и каким-то особенно тонким выражением в уголках губ.

Панаев вышел из комнаты, чтобы не мешать разговору друзей. Сначала они говорили несколько на тянуто и холодно. Но ни Белинский, ни Герцен не были людьми, способными долго говорить о пустяках. Едва речь зашла о статье «Бородинская годовщина», Белинский вспыхнул и поспешно сказал: «Ну, слава богу! договорились же! а то я с моим глупым нравом не знал, как начать… Ваша взяла: три-четыре месяца в Петербурге меня лучше убедили, чем все доводы. Забудьте этот вздор. Довольно вам сказать, что на-днях я обедал у одного знакомого; там был инженерный офицер; хозяин спросил его, хочет ли он со мной познакомиться. «Это автор статьи о бородинской годовщине?» спросил его на ухо офицер. «Да». — «Нет, покорно благодарю», сухо ответил он. Я слышал все и не мог вытерпеть, — я горячо пожал руку офицеру и сказал ему: вы благородный человек, я вас уважаю. Чего же вам больше?»

Недоразумение было кончено. Великие русские патриоты опять шли вместе, рука об руку.

Несмотря на все возрастающую известность и влияние, Белинский был очень застенчив в малознакомом обществе.

Трудно было, глядя на его скромную внешность, представить себе, какой пламенный борец скрывался в этом человеке.

Между чужими людьми он обыкновенно легко терялся. Как-то князь Одоевский, известный в то время писатель и превосходный человек, очень любивший Белинского, пригласил его к себе на вечер, где всегда собиралось много знаменитостей и светских людей. Виссарион Григорьевич ответил на это приглашение уклончиво. Тогда Одоевский прямо спросил:

— Отчего вы не хотите бывать у меня?

— Сказать вам правду? — ответил, улыбаясь, Белинский. — Я человек простой, неловкий, робкий, отроду не бывавший ни в каких салонах… У вас же там бывают дамы, аристократки, а я и в обыкновенном-то дамском обществе вести себя не умею… Нет, уж увольте меня от этого! Ведь вам же будет нехорошо, если я сделаю какую-нибудь неловкость или неприличие по-вашему.

Тогда Одоевский, которому очень хотелось видеть Белинского у себя в доме, — обратился к посредничеству Панаева, взяв с него слово обязательно привести Виссариона Григорьевича в ближайший вечер. Но и Панаеву не легко было исполнить это поручение. Он более часа уговаривал Белинского. Наконец тот сказал:

— Ну, да, пожалуй, чорт с вами… я поеду! Что же мне надеть? — прибавил он, сердито обращаясь к Панаеву.

— Наденьте сюртук, ведь дам на этот раз не будет.

Белинский одевался долго, кряхтел, кашлял, уверял, что больше чем когда-нибудь чувствует одышку, что не утерпит — непременно съест чего-нибудь и от этого ему будет еще хуже.

Уже садясь в сани, он сказал:

— Кажется, я делаю непростительную глупость!.. Знакомых у меня там почти никого нет… Ну что я буду делать?

Когда они приехали и входили на лестницу, Виссарион Григорьевич, поднявшись на несколько ступенек, остановился и произнес:

— Уж не воротиться ли мне?

— Нет, я не отпущу вас ни за что, — ответил Панаев.

— Ну, делать нечего… Идемте… Да не бегите так скоро по лестнице. Ведь вам нипочем всходить на какую угодно высоту, а я тихо-то идя задыхаюсь…

Был поздний час, когда они появились в салоне Одоевского. Там уже были все литературные знаменитости: Крылов, Жуковский, Лермонтов, князь Вяземский и другие. Одних Белинский знал хорошо, с другими был едва знаком. Он скромно уселся позади дивана, на котором расположились знаменитости. Возле стоял небольшой столик с несколькими бутылками вина.

Белинский, прислушиваясь к разговору, незаметно облокотился на этот столик. Столик мгновенно опрокинулся, упавшие бутылки разбились, и из них хлынули струи вина прямо на колени Жуковскому, заливая его светлые клетчатые брюки. Все вскочили с мест, поднялся невообразимый шум. В довершение несчастия Белинский, потеряв равновесие после падения столика, упал сам на пол. Хозяин дома, испуганный, бросился к нему, участливо поднял его и повел в свой кабинет.

Понемногу Виссарион Григорьевич успокоился и, застенчиво улыбаясь, сказал Одоевскому:

— Вот, видите ли, я предупреждал вас, что наделаю каких-нибудь неприличий, — так и случилось.

Таков был Белинский в быту: рассеянный и застенчивый. Но он совершенно преображался, когда дело касалось его заветных убеждений. Тогда он вдруг вырастал, слова его лились потоком, вся фигура дышала внутренней энергией и силой, голос по временам прерывался, все мускулы лица приходили в движение. Он нападал на своего противника, как барс; казалось, рвал его на части, то играл им, как соломинкой, то обрушивал на него громы своих сарказмов. А собственная мысль Белинского развивалась в это время с такой ясностью и легкостью, что невозможно было не поддаться его обаянию.

Раз как-то зашел он к одному видному литератору того времени на страстной неделе. Во время обеда на стол подали постные блюда.

— Давно ли, — спрашивает Белинский, — вы сделались так богомольны, что стали соблюдать посты?

— Мы едим, — ответил литератор, — постное просто-напросто для людей.

— Для людей? — переспросил Белинский и побледнел. — Для людей? — повторил он и встал со своего места. — Где ваши люди? Я им скажу, что они обмануты. Всякий открытый порок лучше и человечнее этого презрения к слабому и необразованному, этого лицемерия, поддерживающего невежество. И вы думаете, что вы свободные люди? На одну доску вас со всеми царями, попами и плантаторами! Прощайте, я не ем постного для поучения, у меня нет людей!

НОВЫЕ ДРУЗЬЯ И СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ БЕЛИНСКОГО

Белинский в то время жил у Аничкова моста. Его квартира помещалась во втором этаже большого дома. Просторная комната с двумя окнами служила ему кабинетом, — направо от окон стоял его письменный стол и конторка. Стена перед столом была завешана портретами лиц исторических и близких знакомых. Среди последних выделялся акварельный портрет Николая Станкевича, умершего в 1840 году за границей. Остальные стены кабинета были заняты простыми деревянными полками, на которых помещалась его библиотека, богатая преимущественно книгами по русской истории и русской литературе.

Чистота и порядок в кабинете были всегда удивительные: полы, как зеркало, на письменном столе все вещи разложены по своим местам, на окнах занавески, на подоконниках цветы. Если кто-нибудь бывало оставит следы ног на паркете или насорит табачным пеплом, Белинский непременно нахмурится, начнет ворчать.

Виссарион Григорьевич очень любил живопись. Целые утра он проводил в Эрмитаже и с восторгом говорил потом о картинах, произведших на него особое впечатление. Для себя картин он покупать, конечно, не мог, — небольшие свободные деньги он тратил на покупку книг и хороших старинных гравюр.

Весной 1840 года в Петербурге произошла дуэль между Лермонтовым и сыном французского посла Барантом. После дуэли Лермонтова посадили в наказание на гауптвахту. Виссарион Григорьевич решил навестить арестованного, поэта. На этот раз их встреча была сердечной до конца. Они долго и горячо говорили о родине, о литературе, о русском народе. После этой встречи Белинский с восторгом говорил о великом поэте: «Глубокий и могучий дух! Как он верно смотрит на искусство, какой глубокий и чисто непосредственный вкус изящного! О, это будет русский поэт с Ивана Великого! Чудная натура!.. Перед Пушкиным он благоговеет и больше всего любит «Онегина»… Я с ним спорил, и мне отрадно было видеть в его рассудочном, охлажденном и озлобленном взгляде на жизнь и людей семена глубокой веры в достоинство того и другого. Я это сказал ему — он улыбнулся и сказал: дай бог!»

И для Лермонтова эта встреча не прошла бесследно. Расставшись с Белинским, он под непосредственным влиянием бывшего между ними разговора написал свое известное

стихотворение «Журналист, читатель и писатель».

Завязавшаяся дружба, так много обещавшая в будущем русской литературе, была оборвана через год трагической гибелью Лермонтова. В 1841 году, через четыре года после смерти Пушкина, Россия хоронила своего второго великого поэта, точно так же затравленного и убитого на дуэли, организованной по прямым происками придворных кругов.

Из гениальных мастеров слова пушкинской поры в живых оставался Гоголь. Еще в 1835 году Белинский писал: «Повести г. Гоголя народны в высочайшей степени… Под народностью должно разуметь верность изображения нравов, обычаев в характере того или другого народа, той или другой страны. Жизнь всякого народа проявляется в своих, ей одной свойственных формах; следовательно, если изображение жизни верно, то и народно».

Гоголь был, по определению Белинского, «поэт жизни действительной», главные черты его таланта — «простота вымысла, совершенная правда жизни, народность, оригинальность» и, наконец, одному ему свойственная особенность: «комическое одушевление всегда побеждаемое глубоким чувством грусти и уныния». Великий критик уже тогда смело поставил Гоголя на первое место рядом с Пушкиным, назвав его «главою литературы, главою поэтов».

Теперь в Петербурге они познакомились лично, встречаясь на вечерах у князя Одоевского и у других общих знакомых. Белинский говорил, что эти редкие встречи с Гоголем были для него «отдыхом и отрадою».

Впрочем, близко они не сошлись. В то время как Белинский все решительнее приходил к убеждению в необходимости полного переустройства России революционным путем, Гоголя уже пугала страшная сила отрицания устоев русской жизни в его собственных сочинениях.

Последняя дружеская встреча была в Москве в конце 1841 года. Гоголь, закончивший тогда работу над первым томом «Мертвых душ», просил великого критика отвезти рукопись этого произведения в Петербург, так как в Москве цензура не разрешала печатать под тем предлогом, что «Мертвых душ не может быть: души бессмертны».

Белинский взял рукопись и по приезде в Петербург передал ее князю Одоевскому. Позднее, при содействии Жуковского, удалось преодолеть цензурные препятствия, и книга была напечатана.

«Творение чисто русское, национальное, — писал с восторгом Белинский о «Мертвых душах», — выхваченное из тайников

народной жизни, столько же истинное, сколько и патриотическое, беспощадно сдергивающее покров с действительности и дышащее страстью нервистою, кровною любовию к плодовитому зерну русской жизни; творение необъятно-художественное по концепции и выполнению, по характерам действующих лиц и подробностям русского быта, — и в то же время глубокое по мысли, социальное, общественное и историческое… При каждом слове его поэмы читатель может говорить:

Здесь русский дух, здесь Русью пахнет!

Этот русский дух ощущается и в юморе, и в иронии, и в выражении автора, и в размашистой силе чувств, и в лиризме отступлений, и в пафосе всей поэмы, и в характерах действующих лиц, от Чичикова до Селифана и «подлеца чубарого» включительно — в Петрушке, носившем с собою свой особенный воздух, и в будочнике, который при фонарном свете, впросонках, казнил на ногте зверя и снова заснул».

В 1842 году Белинский познакомился с Некрасовым, тогда еще никому неизвестным юношей, и привел его с собою к Панаевым, где собралось несколько человек литераторов. Познакомив Некрасова с присутствующими, Виссарион Григорьевич попросил его прочесть написанное им новое произведение: «Петербургские углы».

Некрасов, видимо сконфуженный незнакомым обществом, начал чтение. Голос у него был слабый, и он сначала читал очень тихо, затем несколько разошелся. Молодой поэт имел болезненный вид и казался значительно старше своих лет. Манеры у него были своеобразны: он сильно прижимал локти к бокам, горбился, а когда читал, то часто машинально приподнимал руку к едва пробивавшимся усам и, не дотрагиваясь до них, опять опускал ее.

Белинский уже прочел «Петербургские углы», но слушал чтение внимательно и посматривал на слушателей, словно желая угадать, какое впечатление производит оно на них.

По окончании чтения раздались похвалы автору, но тут же кто-то заметил, что реальность «Петербургских углов» может покоробить читателей.

Белинский в ответ на это горячо сказал: «Литература обязана знакомить читателей со всеми сторонами нашей общественной жизни. Давно пора коснуться материальных вопросов жизни, ведь важную роль они играют в развитии общества».

Виссарион Григорьевич полюбил молодого поэта и начал ему покровительствовать, как это делал всегда с людьми, в которых

замечал честность, ум и талант.

Стихотворение Некрасова «Родина», в котором поэт с большой силой выступил против угнетения и рабства, привело Белинского в восторг. «Каков Некрасов-то! — говорил он друзьям. — Сколько скорби и желчи в его стихе». Великий критик приветствовал в Некрасове наследника Пушкина и Лермонтова, поэта огромной силы, будущего властителя дум молодого поколения передовых русских людей.

Некрасов знал, чем он обязан в своем идейно-политическом развитии великому критику. Через много лет после смерти «неистового Виссариона» он вспоминал о нем с чувством подлинного благоговения:

Молясь твоей многострадальной тени,
Учитель! перед именем твоим
Позволь смиренно преклонить колени.

Белинский был учителем не только Некрасова, но и всего революционно-демократического поколения русских людей 40-х годов прошлого века. С отеческой нежностью относился он к своим соратникам, отдававшим, как и он сам, все свои дарования и даже жизнь родному народу.

В конце 1842 года Белинский получил известие о смерти Кольцова. «Я похож на солдата в разгаре битвы, — сказал он, — пал друг и брат — ничего — с богом — дело обыкновенное. Оттого-то, верно, потеря сильнее действует на меня тогда, как я привыкну к ней, нежели в первую минуту». Тем не менее непрерывный ряд смертей выдающихся русских людей, уходивших из жизни в расцвете лет, когда они особенно много могли дать русскому народу, удручал великого патриота. «Боже мой! — восклицал он. — Неужели мне суждена роль какого-то могильщика! Я окружен гробами — запах тления и ладана преследует меня и день и ночь!»

Временами он не выдерживал и признавался: «Жить становится все тяжелее и тяжелее — не скажу, чтобы я боялся умереть с тоски, а не шутя боюсь или сойти с ума, или шататься, ничего не делая, подобно тени, по знакомым. Стены моей квартиры мне ненавистны; возвращаясь в них, иду с отчаяньем и отвращением в душе, словно узник в тюрьму, из которой ему позволено было выйти погулять».

Действительно, Белинский избегал теперь оставаться наедине с самим собою. Он вечерами приходил к знакомым; садился играть в карты. Свою страстную натуру «неистовый Виссарион» проявлял даже и тут. Игра обычно кончалась проигрышем рубля-

двух, но Белинский в течение вечера переживая всю гамму ощущений от радости до отчаянья. После проигрыша он бросал карты и уходил в другую комнату, мрачно говоря: «Такие вещи случаются только со мной».

В начале 1843 года Белинский познакомился с Тургеневым, напечатавшим свою первую поэму «Параша». Знакомство произошло по инициативе самого Тургенева, который, уезжая в деревню, зашел к Белинскому и, не назвавшись, оставил ему экземпляр своей поэмы. Через два месяца в деревне Тургенев получил майскую книжку «Отечественных записок» и прочел в ней статью великого критика о «Параше». Вернувшись в Петербург, Тургенев счел своим долгом притти к Виссариону Григорьевичу и познакомиться с ним.

«Это был, — рассказывает Тургенев о своем впечатлении от личности Белинского, — человек среднего роста, на первый взгляд довольно некрасивый и даже нескладный, худощавый, с впалой грудью и понурой головой. Одна лопатка заметно выдавалась больше другой. Всякого, даже не медика, немедленно поражали в нем все главные признаки чахотки, весь так называемый habitus этой злой болезни. Притом же он почти постоянно кашлял. Лицо он имел небольшое, бледно-красноватое, нос неправильный, как бы приплюснутый, рот слегка искривленный, особенно когда раскрывался, маленькие частые зубы; густые белокурые волосы падали клоком на белый, прекрасный, хотя и низкий лоб. Я не видал глаз более прелестных, чем у Белинского. Голубые, с золотыми искорками в глубине зрачков, эти глаза, в обычное время полузакрытые ресницами, расширялись и сверкали в минуты воодушевления; в минуты веселости взгляд их принимал пленительное выражение приветливой доброты и беспечного счастья. Голос у Белинского был слаб, с хрипотою, но приятен; говорил он с особенными ударениями и придыханием, «упорствуя, волнуясь и спеша». Смеялся он от души, как ребенок. Он любил расхаживать по комнате, постукивая пальцами красивых и маленьких рук по табакерке с русским табаком».

Виссарион Григорьевич, в свою очередь, сразу же полюбил Тургенева. «Это человек необыкновенно умный, — отзывался он о своем новом знакомом, — да и вообще хороший человек. Беседы и споры с ним отводили мне душу. Тяжело быть среди людей. которые или во всем соглашаются с тобою, или если противоречат, то не доказательствами, а чувствами и инстинктом, — и отрадно встретить человека, самобытное и характерное мнение которого, сшибаясь с твоим, извлекает искры. У Тургенева много юмору… Вообще, Русь он понимает. Во

всех его суждениях виден характер и действительность».

Осенью 1843 года в личной жизни Виссариона Григорьевича произошло крупное событие: он женился.

После своего неудачного романа в Прямухине он решил, что не может нравиться женщинам и обречен на холостую жизнь. Его робость в отношении женщин еще более усилилась. Но он, как всегда, был слишком скромного мнения о себе. На самом деле высокие нравственные качества Виссариона Григорьевича и вся жизнь его, обратившаяся в беззаветную службу родине, завоевали ему всеобщее признание; он мог возбудить к себе горячую и преданную женскую любовь.

Еще в 1835 году он познакомился в Москве с Марией Васильевной Орловой, скромной труженицей, классной воспитательницей Екатерининского женского института. Это знакомство в период увлечения Белинского Александрой Бакуниной почти прекратилось, но когда Виссарион Григорьевич переехал в Петербург, между ним и Марией Васильевной началась переписка, постепенно их сблизившая. Когда же в сердце Виссариона Григорьевича вспыхнуло большое чувство к Марии Васильевне и он убедился, что это чувство взаимно, он решил ехать в Москву для личного объяснения.

Чем ближе подходил день отъезда, тем большим становилось его нетерпение, он только и думает о предстоящей встрече, ему кажется, что она никогда не состоится. «Мысль, что я еду в Москву, — признается он, — носится в моей голове, как приятный сон. Я только тогда уверюсь в ее действительности, когда петербургская застава исчезнет из виду».

В Москве их совместная жизнь была решена, и Белинский вернулся в Петербург, чтобы сделать необходимые — приготовления к свадьбе. Не имея опыта в делах такого рода, он просил жену Панаева помочь ему. «Я вас прошу закупить, — сказал он ей, — что нужно для хозяйства, все самое дешевое и только необходимое. Мы оба пролетарии… Моя будущая жена не избалована и требований никаких не заявит. Теперь мне надо вдвое работать, чтобы покрыть расходы на свадьбу».

Свадьба была отпразднована очень, скромно. В церкви Белинский был весел, но когда возвращался домой в карете, сделался мрачен: у него заболела грудь. Но боль скоро прошла, и он опять повеселел.

Дома Белинский подошел к конторке, за которой всегда писал стоя, так как последнее время не мог долго сидеть — у него разбаливалась грудь, и взялся за перо. Кто-то из друзей, приглашенных на свадьбу, опросил: неужели он хочет работать в такой торжественный день?

— Не хочу, а должен, — ответил Виссарион Григорьевич. — В типографии ждут набора, терпеть не могу, когда за мной остановка. Находите, что «молодому» неприлично работать? Успокойтесь, у меня жена не девочка, не надуется на меня за это. Вы разговаривайте, мне еще веселее будет писать.

Но Белинскому не удалось заняться: кухарка так начадила в кухне, которая была возле, что Виссарион Григорьевич закашлялся, бросил перо… Смеясь, он сказал гостям:

— Кухарка, должно быть, это нарочно начадила: тоже нашла, что «молодому» неприлично работать в день свадьбы.

Квартира Белинского в Петербурге была притягательным центром для его друзей, среди которых находились все лучшие русские люди того времени. Один из них, Тургенев, вспоминает о том времени так: «Я часто ходил к нему после обеда отводить душу. Не могу не повторить: тяжелые тогда стояли времена… Бросишь вокруг себя мысленный взор: взяточничество процветает, крепостное право стоит, как скала, казарма на первом плане, суда нет, носятся слухи о закрытии университетов, вскоре потом сведенных на трехсотенный комплект, поездки за границу становятся невозможны, путной книги выписать нельзя, какая-то темная туча постоянно висит над всем так называемым ученым, литературным ведомством, а тут еще шипят и расползаются доносы; между молодежью ни общей связи, ни общих интересов, страх и приниженность во всех, хоть рукой махни! Ну вот и придешь на квартиру Белинского, придет другой, третий приятель, затеется разговор — и легче станет; предметы разговора были большей частью нецензурного (в тогдашнем смысле) свойства».

На квартиру Виссариона Григорьевича вскоре переехала сестра его жены, Аграфена Васильевна. Жили дружно, но бывали иногда мелкие недоразумения, почти неизбежные в условиях крайней материальной бедности.

Как-то летом по предложению Виссариона Григорьевича они втроем отправились на прогулку по Неве. Взяли напрокат лодку у самого дома, потом по Фонтанке выехали в Неву и доехали до Биржевого сквера. Там высадились и пошли по саду. В сквере продавали цветы. Белинский, страстный любитель цветов, залюбовался одним кактусом с ярким красным цветком и тут же купил его. Завернув осторожно свою покупку, он заявил, что хочет скорее вернуться домой, чтобы поставить кактус на подоконник. Жена и свояченица неохотно с ним согласились и сели в лодку. В дороге они завели разговор о том, как безрассудно человеку бедному и семейному бросать деньги на такую прихоть, как растения, которых и без того дома девать

некуда. Виссарион Григорьевич замолчал, как-то съежился, потускнел и так довез кактус до квартиры, куда внес его без всякой радости и поставил на первое попавшееся свободное место.

Через год после свадьбы у Белинских родилась дочь Ольга, и они переехали на дачу около Лесного. Собственно говоря, это была не дача, а простая изба, перегороженная не до потолка. С одной стороны в ней помещалась кухня, а с другой — комната, которая служила одновременно и спальней и кабинетом.

Белинские жили на даче в полном уединении. Любимым развлечением Виссариона Григорьевича было ходить по грибы. Он и в это дело вкладывал всю свою страсть.

Незаметно промелькнуло лето. Переехали опять в город. Опять Белинский с головой ушел в черновую журнальную работу, которую на него наваливал Краевский.

ВЕЛИКИЙ СЫН РУССКОГО НАРОДА

В конце 1845 года Белинский тяжело заболел. Из последних сил, надрываясь, работал больной Виссарион Григорьевич. Его состояние делалось все хуже и хуже; не выдерживая, он жаловался друзьям: «Журнальная срочная работа высасывает из меня силы, как вампир кровь… Способности мои тупеют… здоровье видимо разрушается. Но труд мне не опротивел… Мне невыносима и вредна только срочная журнальная работа. С Краевским невозможно иметь дело. Это, может быть, очень хороший человек, но он приобретатель, следовательно, вампир, всегда готовый высосать из человека кровь и душу, а потом бросил, его за окно, как выжатый лимон».

К этому времени у Белинского созревает решение разорвать с Краевским, уйти из «Отечественных записок» и выпустить «толстый огромный альманах» под названием «Левиафан». На такую мысль его натолкнул Некрасов, только что издавший свой «Петербургский сборник», в котором, кстати сказать, участвовал также и Белинский.

Для нового сборника достать материал было нетрудно. Помимо Герцена, Тургенева, Некрасова и Панаева, давших свои произведения в альманах, участвовать в нем согласились Достоевский, Гончаров и Григорович, незадолго до того впервые признанные и оцененные самим Виссарионом Григорьевичем.

Знакомство с Достоевским произошло в 1645 году, когда Некрасов принес Виссариону Григорьевичу повесть «Бедные люди» никому тогда неизвестного молодого автора. Первые же страницы рукописи заинтересовали Белинского. Он не спал всю ночь и прочел повесть сразу, не отрываясь.

Наутро Белинский едва дождался Некрасова, и когда тот пришел, задыхаясь от волнения, стал говорить ему о появлении в русской литературе нового могучего таланта, который превзойдет Гоголя. В заключение Белинский потребовал, чтобы Некрасов немедленно привел к нему Достоевского.

«Да вы понимаете ли, — сказал Белинский Достоевскому, — что это вы такое написали? Вы до самой сути дела дотронулись, самое главное, разум указали. Вот тайна художественности, вот правда в искусстве! Вот служение художника истине! Вам правда открыта и возвещена, как художнику досталась, как дар, цените же ваш дар и оставайтесь верным и будете великим писателем».

Встреча с великим критиком была решающим событием в жизни молодого Достоевского. Через тридцать лет, на пороге смерти, он вспоминал о ней: «Я остановился на углу его

(Белинского) дома, смотрел на небо, на светлый день, на проходивших людей и весь, всем существом своим, ощущал, что в жизни моей произошел торжественный момент, перелом навеки, что началось что-то совсем новое, но такое, чего я и не предполагал даже в самых страстных мечтах моих… О, я буду достоин этих похвал!»

Точно так же, с первого раза, Белинский оценил замечательный талант Гончарова. Встреча их произошла во время чтения Гончаровым своего романа «Обыкновенная история» в доме их общих знакомых. «Белинский, — по свидетельству Панаева, — все с более и более возраставшим участием и любопытством слушал чтение Гончарова и по временам привскакивал на своем стуле, с сверкающими глазами, в тех местах, которые ему особенно нравились».

Личная близость к великому критику не только благотворно влияла на лучших русских писателей того времени, но и помогала им вырасти в художников мирового значения.

Ежегодно Белинский писал обзоры русской литературы, которые являлись в то же время глубокой картиной всей русской жизни, сделанной на основе передовой философской мысли. Статьи Белинского до сих пор остаются непревзойденными по глубине и тонкому пониманию художественного мастерства и общественного значения творчества Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Кольцова, Герцена, Тургенева, Достоевского, Гончарова и многих других русских писателей. Каждая страница, написанная Белинским, свидетельствует о непрерывном горении его мысли, о страстной, всепоглощающей любви к родной литературе. Это непрестанное горение представляет собою наиболее яркое отличие «неистового Виссариона» от всех остальных критиков — и малых да и великих, русских и зарубежных.

Белинский с полным правом может быть назван революционным просветителем, народным трибуном, о котором Некрасов так справедливо говорил:

Ты нас гуманно мыслить научил,
Едва ль не первый вспомнил о народе,
Едва ль не первый ты заговорил
О равенстве, о братстве, о свободе.

Сороковые годы были временем наибольшего расцвета таланта и деятельности Белинского. Статьи его, как вспоминал Герцен, «судорожно ожидались в Москве и Петербурге с 25-го числа каждого месяца. Пять раз хаживали студенты в кофейные спрашивать, получены ли «Отечественные записки». Номер

журнала рвали из рук в руки. «Есть Белинского статья?» — «Есть!» — и она поглощалась с лихорадочным сочувствием, со смехом, со спорами… и трех-четырех верований, убеждений как не бывало».

Преодолев идеалистическую философию Шеллинга[16] Фихте, Гегеля, Виссарион Григорьевич переходит теперь к материализму Фейербаха[17]. Но «неистовый Виссарион» не ограничивался созерцательным отношением к действительности, а идет дальше и делает революционные выводы из воззрений Фейербаха. Поэтому с полным основанием говорил впоследствии Чернышевский, что развитие философии в России «совершалось частию под влиянием… мыслителей, явившихся после Гегеля, отчасти — мы с гордостью можем сказать это — собственными силами. Тут в первый раз русский ум показал свою способность быть участником в развитии человеческой науки».

Именно в этот последний период своего философского развития Белинский категорически заявил: «Идея социализма… стала для меня идеею идей, бытием бытия, вопросом вопросов, альфою и омегою веры и знания. Все из нее, для нее и к ней». Он ведет непримиримую борьбу со славянофилами, которые учили, что общинный уклад лежит в самой основе русской народной жизни и что поэтому развитие России пойдет совсем иным путем, чем развитие западноевропейских стран: в России невозможна революция. «Неистовый Виссарион» со всей яростью возражал против этой реакционной концепции. Он знал, что» усвоение русским народом опыта исторической жизни западноевропейских народов нисколько не уничтожит самобытности нашего народа, а только еще более обогатит его. «Любить свою родину, — писал Белинский, — значит, пламенно желать видеть в ней осуществление идеала человечества и по мере сил своих споспешествовать этому. В противном случае патриотизм будет китаизмом, который любит свое только за то, что оно свое, и ненавидит все чужое за то только, что оно чужое, и не нарадуется собственным безобразием и уродством». Так выступал Виссарион Григорьевич против всякой национальной исключительности, против вздорного бреда о «расовом превосходстве».

Он беззаветно любил родину и в русской истории находил неопровержимые доказательства силы, талантливости и великого будущего нашего народа. «Нам, русским, — говорил он, — нечего сомневаться в нашем политическом и государственном значении: из всех славянских племен только мы сложились в крепкое и могучее государство и, как до Петра Великого, так и после него, до настоящей минуты, выдержали с честью не одно суровое испытание судьбы, не раз были на краю гибели и всегда успевали опасаться от нее и потом являться в новой и большей силе и

крепости. В народе, чуждом внутреннего развития, не может быть этой крепости, этой силы. Да, в нас есть национальная жизнь, мы призваны сказать миру свое слово, свою мысль». Поэтому он так уверенно мог глядеть на столетия вперед и видеть то, что обычно бывает скрыто от многих. В 40-х годах прошлого века он вдохновенно-пророчески говорил: «Завидуем внукам и правнукам нашим, которым суждено видеть Россию в 1940 году, — стоящую во главе образованного мира, дающую законы науке и искусству и принимающую благоговейную дань уважения от всего просвещенного человечества… Движение, данное один раз, не остановится, и время только будет ускорять его полетом своим».

Но он видел кругом себя жизнь, страдавшую под гнетом произвола помещиков-крепостников и дикого режима самодержавия. Поэтому он звал к непримиримой борьбе, указывая, что «самые живые современные вопросы в России теперь — уничтожение крепостного права, отменение телесного наказания, введение по возможности строгого выполнения хотя тех законов, которые уже есть». Он ненавидел самодержавие и с гневом спрашивал: «Какое имеет право подобный мне человек стать выше человечества, отделиться от него железною короною и пурпуровою мантиею?»

Белинский знал, что к будущему своему счастью народ не сможет притти мирным путем, и страстно ожидал революции, Он звал к сплочению всех сил для, предстоящей борьбы и, как великий патриот, был убежден, что «на святой Руси не было, нет и но будет ренегатов, то есть этаких выходцев, бродяг, пройдох, этих расстриг и патриотических предателей, которые бы, играя двойною присягой, попадали бы в двойную цель…»

С исключительной прозорливостью он указывал на то, что в русском обществе «кипят и рвутся наружу свежие силы, но, сдавленные тяжелым гнетом, не находя исхода, производят только уныние, тоску, апатию. Только в одной литературе, несмотря на татарскую цензуру, есть еще движение вперед». Поэтому он всю страсть своего большого сердца отдал русской литературе. В 40-е годы Белинский, опираясь на передовую философию своего времени и развивая ее в духе революционного просветительства, создал подлинно научную эстетику, в основу которой положил идею народности.

Признаком истинной народности великий критик считал правдивость художественного произведения, изображение жизни с позиции передовой общественной теории, типичность образов, лиц и характеров. Задача искусства, по его мнению, сливается с задачей научного исследования, пользующегося опытным методом. Белинский создал и утвердил теорию правдивости,

реализма в искусстве. Таким образом, русская теоретическая мысль в лице Белинского на несколько десятилетий обогнала западноевропейскую, сделав тем самым свой ценный вклад в сокровищницу общечеловеческой культуры.

Свои эстетические взгляды Белинский сформулировал следующим образом:

1. Поэзия есть истина в форме созерцания. Поэт мыслит образами; он не доказывает истины, а показывает ее.

2. Поэт свои идеальные образы переносит в действительность, то есть видимое одному ему делает видимым для всех. Поэт не украшает действительности, не изображает людей, какими они должны быть, но каковы они суть.

3. Поэзия есть мышление в образах, и потому, коль скоро идея, выраженная образом, не ясна, ложна, не полна, то и образ по необходимости не художественен.

4. Одно из главнейших условий каждого художественного произведения есть гармоническая соответственность идеи с формой и формы с идеей и органическая целостность всего произведения.

5. Всякое художественное произведение есть нечто отдельное, особое, но проникнутое общим содержанием — идеею. Нет границы между идеею и формой, но та и другая являются вместе, как нечто целостное, единое.

Подлинно народным писателем Белинский считал такого писателя, который борется за счастье своего народа. Он вел непримиримую борьбу с реакционными теориями о том, что искусство должно служить только искусству, что оно выше жизни. «Отнимать у искусства право служить общественным интересам, — горячо заявлял Белинский, — значит не возвышать, а унижать его, потому что это значит — лишать его самой живой силы, то есть мысли, делать его предметом какого-то сибаритского[18] наслаждения, игрушкой праздных ленивцев».

Белинский внимательно изучал историю нашей родины. Он понимал, что народный характер, настоящее и будущее народа в значительной степени определяются его прошлой жизнью. Великий критик указывал русским писателям на законность и необходимость исторической тематики в литературе.

«История русского народа, — писал он, — так богата героическими и драматическими событиями, что составляет прекрасный материал для романиста и драматурга, ждет своего Шекспира и Вальтера Скотта».

Исключительное значение придавал Белинский эпохе 1812 года. «У всякого народа, — говорил он, — своя история, а в истории свои критические моменты, по которым можно судить о

силе и величии его духа, и, разумеется, чем выше народ, тем грандиознее, царственнее достоинство его истории, тем поразительнее трагическое величие его критических моментов и выхода из них с честью и славою победы».

Белинский имел в виду не только внешнее величие и блеск, которыми покрыл себя русский народ в эту великую эпоху своей жизни, но главным образом то обстоятельство, что «напряженная борьба насмерть с Наполеоном пробудила дремавшие силы России и заставила ее увидеть в себе силы и средства, которых она дотоле в себе не подозревала».

Задача создания русского исторического романа, поставленная великим критиком перед нашей литературой, была гениально разрешена менее чем через четверть века после его смерти «великим писателем земли русской» Львом Николаевичем Толстым в исторической эпопее «Война и мир». Лев Толстой глубоко раскрыл народное значение войны 1812 года, показал непобедимую силу и величие русского народа, когда он поднимается на борьбу за честь, независимость и славу своей родины.

Только моральные выродки, потерявшие человеческий облик, только тупые фашистские бандиты, павшие до уровня диких зверей, не в состоянии были понять наглядного урока прошлой нашей истории. Вероломно они вторглись в пределы нашей родины, думая в течение нескольких месяцев поставить на колени наш народ, поработить его. Бредовые планы германского фашизма безвозвратно погребены на полях великих битв под Москвой и Сталинградом, под Курском, Ленинградом, на полях Белоруссии и Украины. Перед изумленными взорами всего человечества наш народ выступает теперь в ореоле небывалой еще славы, как избавитель народов от фашистского изуверства и варварства, как защитник цивилизации от мракобесия и средневековой реакции. И в эти торжественные часы истории наш народ о благодарностью вспоминает имена своих великих сыновей — и среди этих имен одним из наиболее чтимых является имя Виссариона Григорьевича Белинского.

ПО РОДНОЙ ЗЕМЛЕ

В сороковые годы прошлого века в России художественная литература была почти единственной областью, где могла проявляться передовая революционная мысль. Белинский понимал это и отдал всего себя русской литературе.

Надо было взглянуть на него в те минуты, когда он писал свои вдохновенные статьи. Лицо и глаза его горели, перо с необыкновенной быстротой бегало по бумаге, он тяжело дышал и беспрестанно отбрасывал в сторону исписанный полулист. Он обыкновенно писал только на одной стороне полулиста, чтобы не останавливаться в ожидании, пока просохнут чернила.

Но издатель «Отечественных записок» заваливал Белинского мелкой неинтересной журнальной работой, отнимая тем самым его драгоценное время и силы. «Рука отекла от писания, — жаловался великий критик. — Я часов восемь сряду писал не вставая… Сколько книг мне присылают… и какие еще книги — посмотрите: азбуки, грамматики, сонники, гадальные книжонки! И я должен непременно хоть по нескольку слов написать о каждой из этих книжонок…»

Виссарион Григорьевич страдал от того, что эта мелкая журнальная «поденщина» мешала ему приступить к осуществлению задуманного им «Теоретического и критического курса русской литературы». Отдельные статьи, например о творчестве Пушкина, предназначавшиеся для этого курса, были им уже напечатаны. Вопрос об освобождении от журнальной кабалы у Краевского означал для Белинского возможность еще полнее отдать свои силы родине.

Весной 1846 года Виссарион Григорьевич отказался от сотрудничества в «Отечественных записках». Краевский, понимая, что без Белинского журнал потеряет свое значение, стал предлагать ему деньги, даже временный отпуск. Но Виссарион Григорьевич был непоколебим.

Как раз в это время великий русский артист Михаил Семенович Щепкин собирался в турне по югу России. Зная, что Виссарион Григорьевич нуждается в отдыхе, Щепкин уговорил его поехать вместе. Белинскому самому хотелось поближе посмотреть жизнь русского народа, не в столицах, а в самой толще ее. Он с радостью принял предложение Щепкина.

В начале мая, простившись со своей семьей, Виссарион Григорьевич выехал в Москву, где уже находился поджидавший его Щепкин. Из Москвы Белинский писал жене: «Принят я был до того ласково и радушно, что это глубоко меня тронуло, хотя я и

привык к дружескому вниманию порядочных людей… Лучше, то есть оригинальнее, всех принял меня Михаил Семенович: готовясь облобызаться со мною, он пресерьезно сказал: какая мерзость! Он глубоко презирает всех худых и тонких… Впрочем, Наталья Александровна (жена Герцена) нашла, что я похорошел (заметь это) и поздоровел».

Проводы Белинского московскими его друзьями на юг были веселы и шумны. Они начались с завтрака в квартире Щепкина, затем все двинулись к экипажам, уже стоявшим у подъезда. День был ясный и теплый. Во время поездки особенно много острил и заливчато смеялся Герцен. Поэтому кто-то даже сказал с самым серьезным видом:

— Позвольте, господа, как же мы это едем с Герценом по городу?

— А в чем дело? — раздались недоуменные восклицания.

— Да ведь с колокольчиками запрещено ездить по городу.

Дружный смех последовал за этим шутливым разъяснением.

Около почтовой станции вся компания расположилась под открытым небом на пригорке. Появилось вино, припасы. За неимением стола Герцен достал откуда-то доску и начал на ней резать хлеб, ветчину, рыбу, пироги. Хлопнули пробки, полилось в бокалы шампанское… Начались тосты за отъезжающих.

В это время подали почтовую карету. Все поднялись, стали обнимать на прощанье Белинского и Щепкина.

Нетерпеливый Белинский первый вырвался из дружеских объятий и сел в карету. «Прощайте! прощайте!» говорил он, махая рукой.

Карета тронулась, колокольчик задребезжал. Через несколько минут только далекое облачко пыли виднелось там, куда умчалась карета.

Первая остановка была в Калуге, куда путешественники прибыли 30 мая. Белинский чувствовал себя настолько хорошо, что за время почти двухнедельного пребывания в Калуге ежедневно отправлялся гулять за город, лазил по оврагам, поднимался на холмы, уставал донельзя, но ни разу не кашлянул и не почувствовал себя больным.

Когда гастроли Щепкина в Калуге окончились, путешественники выехали дальше. Их путь лежал на Тулу, Воронеж, Курск, Харьков, Екатеринослав, Херсон, Николаев и Одессу. И везде Белинский испытывал чувство гордости за свою страну, видя скрытые в ней великие силы. Большое впечатление произвел на него Екатеринослав (ныне Днепропетровск). Он писая жене:

«Этот город, как все города в Новороссии, построен

Потемкиным, который хотел из него сделать южную столицу России. И было где! Екатеринослав стоят на берегу Днепра, на высоком берегу; Днепр обтекает его полукругом и в этом месте шире Невы. Город чрезвычайно оригинален: улицы прямые, широкие, есть дома порядочные… На огромной (незастроенной) площади стоит храм, довольно большой, но он занимает только место алтаря по прежнему плану. Потемкин хотел его строить на целый аршин кругом шире собора Петра и Павла в Риме — величайшего в Европе храма. Но он умер, и с ним умерли все его исполинские планы. На той же площади стоит дворец Потемкина, в котором он принимал у себя императрицу Екатерину и австрийского императора Иосифа II… При дворце сад, омываемый заливом Днепра… В нем одних яблонь до 49 родов, акаций до 30 родов, много разных американских растений. Все это смотрели мы на другой день приезда; погода была чудная, я много ходил — и не уставал, а вид этой природы и чудного местоположения упоил меня.

Отобедавши у одного знакомого Михаила Семеновича, в пять часов вечера мы выехали из Екатеринослава. Проехали через Херсон, от него поворотили параллельно морю, от востока на запад, ехавши до того времени прямо от севера на юг. Жаль, что через Николаев проезжали ночью. Город большой, портовый, стоит он при слиянии Буга с Ингулом, образующим реку шириною верста и 70 сажен. Переправлялись на баркасе, с парусом и на веслах, ночь была чудная, месячная. На другой день, за 30 верст от Одессы, завидели Черное море, по берегу которого столько верст ехали, не видавши его.

В Одессу приехали в два часа ночи. Оригинальный город! Наш трактир на берегу моря, берег высокий, вдоль его идет бульвар, вниз к морю идет каменное крыльцо, с большими уступами, в двести ступенек. По этой лестнице ходят купаться в море. На море корабли, суда. Вид единственный! А что за гулянье по этому бульвару в тихую теплую погоду, лунной ночью! Боже великий! Когда в Одессе жара, жители днем спят, а ночью гуляют. Днем пыль страшная, и многие дома сделаны с жалюзи, которые днем и ночью не открываются, по причине страшной пыли.

Есть в Одессе Пале-Рояль — четвероугольное здание, с садиком внутри, с галлереей кругом, с трех сторон, — с четвертой ход в театр. Тут лавки с модными товарами, кофейни, кондитерские, в галлереях всегда народ, сидят на скамейках, на стульях перед маленькими столиками, пьют кофе, шоколад, лимонад, оршад, едят мороженое. Все это довольно пестро, живо.

Для меня одно скверно: нельзя купаться в море — вода страшно холодна. Это странное море — вода в нем холодеет от

южного ветра, который ее выворачивает со дна, а при северном теплеет. Приехавши, я взял ванну, теплую, из морской воды; меня от нее страшно расслабило — едва на ногах держался целый день. Завтра возьму похолоднее. Сдуру вымыл голову морской водой — четыре раза мылил, а грязи все-таки не смыл, потому что соленая вода уничтожает мыло. От смеси оставшейся в волосах грязи с морской водой моя голова до сих пор словно смолою вымазана».

В конце июля Белинский со Щепкиным выехали из Одессы в Крым, но не морем, как они предполагали сначала, а через Николаев и Херсон, где Щепкин должен был дать несколько гастролей. Путешествие стало утомлять больного Виссариона Григорьевича. Из Херсона он пишет: «Климат и природа здесь чудные, но нет лесов, и оттого тоска смертельная. Кругом выжженная солнцем сухая степь, воздух проникнут какою-то сухостью. Степь эта хороша в апреле и в начале мая, а после она выгорает. Дерево — редкость в степи, и это всегда ветла. В городах тополь и белая акация, но и те растут только по тридцати лет, ибо в это время корень их встречает каменистую почву и они сохнут».

Михаил Семенович Щепкин — великий артист и замечательно чуткий человек — старался развлекать затосковавшего Белинского. В Херсоне, когда от невыносимой палящей жары некуда было деваться и Виссарион Григорьевич буквально изнывал, Щепкин устроил прогулку по морю на баркасе. Верстах в четырех от города баркас причалил к берегу около рыбачьего поселка. Тут же по просьбе путешественников рыбаки закинули тоню, наловили свежей рыбы и сварили чудесную уху. Белинский был в восторге от прогулки и радовался, как ребенок.

В сентябре путешественники были наконец в Крыму. В степях полуострова они увидели стада баранов и верблюдов. Мирные животные, равнодушные ко всему на свете, кроме своей жвачки, вызвали едкую шутку Белинского. «Они, — заметил он, — смотрят решительно славянофилами… упорно держатся святых праотческих обычаев… своего мнения не имеют, буйной воли и буйного разума боятся пуще чумы и бесконечно уважают старшего в роде… позволяя ему вести себя куда угодно и не позволяя себе спросить его, почему, будучи ничем не умнее их, гоняет он их с места на место?»

В Симферополе путешественники задержались на несколько дней. Местоположение города показалось Белинскому пленительным. Дальше к югу, начинались горы, виднелся вдали Чатыр-Даг.

Но несмотря на то, что внимание и участие симферопольской

публики к нему было очень велико, Виссарион Григорьевич начинает тосковать все сильнее по дому, по семье. «Не могу смотреть без тоски, — признается он, — на маленьких детей, особенно девочек. Ох, дожить бы поскорее до октября!», то есть до времени, когда контракт Щепкина кончится, и они оба смогут вернуться на север.

Севастополь был конечным пунктом маршрута. Славная крепость русского Черноморского флота напомнила Виссариону Григорьевичу его детство, проведенное в Свеаборге — северной крепости русского Балтийского флота. Белинский с наслаждением вдыхал в себя свежий морской воздух, любовался безграничной далью мора и ездил вместе со Щепкиным на военные корабли, куда радушно приглашали их моряки, горячо приветствовавшие любимого писателя и любимого артиста.

Путешествие закончилось. Белинский глубоко окунулся в недра родной страны, посмотрел многие города, полюбовался разнообразной богатой и прекрасной ее природой. Он видел тысячи людей разных профессий и классов; эти люди читали его статьи, знали его книги; для тысяч он был близкий человек, друг и учитель. Никогда раньше он не чувствовал такой кровной связи со своим народом, как теперь. Он возвращался в Петербург с новой энергией, готовый отдать новые силы на благо своей отчизны.

ПОСЛЕДНИЕ СИЛЫ — РОДИНЕ

В Петербурге его ждало радостное известие: Некрасов и Панаев решили приобрести журнал «Современник», основанный десять лет назад Пушкиным и после смерти великого поэта издававшийся Плетневым.

Белинский весь загорелся от этой новости. Он будет сотрудничать в журнале Пушкина, куда его хотел привлечь еще сам поэт! Исполняется его десятилетняя мечта. «Я ночи не сплю от страха, — признается он друзьям — ну, если кто-нибудь уже купил у Плетнева право на «Современник»! Легко может случиться, что кому-нибудь другому также пришла мысль издавать журнал. Конечно, «Современник» — единственный журнал, самый подходящий по своей литературной репутации… Вы ведь не можете понять, что значило бы для меня теперь расстаться с надеждой работать для «Современника».

Благодаря энергии Некрасова, ведшего переговоры с Плетневым, все формальности были скоро выполнены, и к новому, 1847 году появились публикации о переходе «Современника» в руки новых издателей и об участии в журнале Белинского.

Сотрудничество великого критика быстро сделало «Современник» самым популярным и авторитетным журналом в России. Виссарион Григорьевич передал в «Современник» рукописи, заготовленные для издания «Левиафана». Таким образом, в первых же номерах журнала появились произведения самых выдающихся русских писателей молодого поколения: Тургенева, Достоевского, Некрасова, Григоровича и многих других.

Конец 1846 года был, пожалуй, самым счастливым в жизни Белинского. Он не поправился физически после поездки, скорее, пожалуй, она даже ухудшила состояние его здоровья, но Белинский, как всегда, не хотел подчиняться физической слабости. К тому же в конце 1846 года у него родился сын Володя, и Белинский, нежно любивший детей, был особенно счастлив.

Он работал для «Современника» с небывалым подъемом и энергией. Но уже над его жизнью собирались тучи. Весной 1817 года принесший столько радости маленький сын умер. Как подействовал этот удар на Белинского, можно судить по его словам, сказанным Тургеневу: «Я не живу, я умираю медленной смертью». К нравственным страданиям прибавились опять физические: туберкулез настолько обострился, что врачи

потребовали немедленного отъезда за границу для лечения в модном тогда немецком курорте Зальцбрунн.

В мае месяце Виссарион Григорьевич выехал на пароходе из Кронштадта в Штеттин, а оттуда через Берлин в Зальцбрунн. Путешествие на этот раз тяготило его с самого начала. Разлука с семьей под свежим впечатлением смерти сына была особенно мучительна. Он боялся за дочь, в голову лезли всякие горькие мысли. По приезде в Зальцбрунн он пишет жене: «Начал выкладывать чемодан, а мне вдруг сделалось так грустно, что хоть и плакать. В глазах мерещились все вы, а в ушах все раздавалось: «Висален Глиголич»… Нет, вперед ни за спасение жизни не уеду вдаль от семейства».

В Зальцбрунне больной Белинский получил письмо от Гоголя. Гоголь отвечал на статью Белинского о последней своей книге «Выбранные места из переписки с друзьями», в которой писатель, под влиянием славянофилов, говорил о терпении, послушании и покорности русского народа. Теперь в письме Гоголь упрекал «неистового Виссариона» за резкий тон его статьи о своей книге. Письмо Гоголя оказалось искрой, от которой вспыхнула вся неукротимая страсть боевой натуры Белинского. «Россия, — отвечал он Гоголю, — видит свое спасение не в мистицизме[19], не в аскетизме[20], не в пиетизме[21], а в успехах цивилизации, просвещения, гуманности… Она представляет собою ужасное зрелище страны, где люди торгуют людьми., не имея на это и того оправдания, каким лукаво пользуются американские плантаторы, утверждая, что негр не человек… И в это-то время великий писатель, который своими дивно-художественными, глубоко-истинными творениями так могущественно содействовал самосознанию России, давши ей возможность взглянуть на самое себя, как будто в зеркале, является с книгою, в которой во имя Христа и церкви учит варвара-помещика наживать от крестьян больше денег, учит их ругать побольше… И это не должно было привести меня в негодование?.. Да если бы вы обнаружили покушение на мою жизнь, и тогда бы я не более возненавидел вас, как за эти позорные строки!»

Это знаменитое «Письмо к Гоголю», «подводившее, — по определению В. И. Ленина, — итог литературной деятельности Белинского, было одним из лучших произведений бесцензурной демократической печати, сохранивших громадное, живое значение и по сию пору» (*В. Ленин*, Соч., т. XVII, стр. 341, изд. 3-е).

Зальцбрунн мало помог Виссариону Григорьевичу. Он решил уехать в Париж, где мог найти более знающих докторов и лучшие условия для лечения.

Из Германии Белинский уезжал с чувством облегчения. «Что за тупой, за пошлый народ немцы! — признавался он. — У них в жилах течет не кровь, а густой осадок скверного напитка, известного под именем пива, которое они лупят и наяривают без меры… Однажды за столом был у них разговор… Один и говорит: «Я люблю прогресс, но прогресс умеренный, да и в нем больше люблю умеренность, чем прогресс». Когда, Тургенев передал мне слова этого истого немца, я чуть не заплакал, что не знаю по-немецки и не могу сказать ему: «Я люблю суп, сваренный в горшке, но и тут я больше люблю горшок, чем суп». Но всего не перескажешь об этом народе, скроенном из остатков и обрезков».

Париж с первого же взгляда произвел на Виссариона Григорьевича самое лучшее впечатление. В этом городе он застал Герцена с женой, Тургенева, Бакунина и других своих друзей. Все вместе они отправились осматривать город. Тюильрийский дворец с его площадью, обсаженной каштанами, с его террасою, откуда видна площадь Согласия с обелиском и великолепными фонтанами, показались Белинскому чудом, «Шехерезадой», как выразился он сам. Затем Пале-Рояль— огромный четвероугольник залитых огнем роскошных магазинов, а в центре каштановая роща, с большим бассейном, посредине которой бил фонтан струей в форме плакучей березы… Вечер был до того тепел, что так и тянуло стать под эту струю, чтобы освежиться прохладными брызгами.

В Париже, среди друзей Белинский отдохнул нравственно, но и тут здоровье его улучшилось мало. Правда, ему казалось, что он стал меньше кашлять, легче дышать, свободнее ходить, но все это не надолго.

В конце октября Виссарион Григорьевич вернулся в Петербург. На его несчастье стояла холодная, сырая осень. Ему сразу стало хуже.

По совету врача он переменил свою квартиру у Аничкова моста на другую, более просторную, на Лиговке, недалеко от станции железной дороги, которая тогда строилась. Квартира эта находилась во втором этаже деревянного дома, стоявшего во дворе среди деревьев, настолько густых, что они затемняли окна и делали комнаты мрачными.

Белинскому приходилось попрежнему много работать, хотя силы его заметно таяли. В его новых статьях видно то же горение мысли, что и раньше, и, как всегда, он забывает о себе, думая о судьбах своей родины. «Я люблю русского человека, — говорит он, — и верю великой будущности России». Именно эта горячая любовь поддерживала в нем остаток жизни, давала последнюю энергию для труда. В первых книгах «Современника» за 1848 год

был напечатан ряд статей и рецензий великого критика» из которых две представляли собою обширные статьи с обзором русской литературы за 1847 год.

Весной 1848 года у Белинского возобновилось удушье, кашель опять мучил его днем и ночью, кровь беспрестанно приливала к голове. Он редко выходил из дому и чаще стал повторять, что жить ему остается недолго, а так много еще хочется сделать для своего народа.

В это время, в связи с начавшейся на Западе революцией, цензурные препятствия в России достигли чудовищных размеров. В феврале и марте Виссариона Григорьевича два раза вызывали в III жандармское отделение, начальник которого выразил желание «познакомиться» с великим критиком. Белинский, больной, не мог туда явиться. Но еще до этого, как говорили, Виссариона Григорьевича встретил на Невском проспекте комендант Петропавловской крепости Скобелев и сказал ему: «Когда же к нам? У меня совсем готов тепленький каземат, так для вас его и берегу».

Все это усиливало болезнь Белинского, которая к маю стала действовать так быстро и разрушительно, что щеки больного совершенно провалились и только глаза еще горели лихорадочным огнем. Он еле передвигал ноги и тяжело дышал.

Как-то в эти дни зашел к нему Панаев. Диван, на котором лежал умирающий Белинский, был поставлен на дворе, под деревьями. Увидев Панаева, он поднял голову, грустно покачал ею, потом протянул руку и сказал: «Плохо мне, плохо, Панаев!»

Панаев начал было что-то говорить в утешение, но больной нетерпеливо перебил его: «Полноте говорить вздор».

Панаев почувствовал себя неловко: перед ним лежал на диване близкий, дорогой человек, дни которого были уже сочтены. Этот прекрасный лоб, эти ясные живые глаза, эти тонкие руки, покрытые холодноватым потом, — все это скоро будет в земле, без движения, без жизни… А солнце светило так ярко, и день был по-весеннему теплый, листочки на деревьях только что начинали набухать и пахли сладковатым клейким запахом, на земле оживленно чирикали и прыгали воробьи, занятые своими хлопотливыми делами… Панаев с тяжелым чувством простился с Белинским.

До последней минуты жизни Виссариона Григорьевича две женщины преданно и самоотверженно ухаживали за ним — его жена и свояченица. На их руках он умер утром 26 мая 1848 года (7 июня нового стиля).

Свою последнюю ночь Белинский не спал. Он говорил два часа не переставая, как будто обращался с речью к русскому

народу. Затем, подзывая к себе жену, просил ее все хорошенько запомнить и передать кому следует… Наконец он внезапно (приподнялся и неожиданно громко, с большой силой опять заговорил о гении, о честности… спешил, задыхался. Тут силы оставили его, он упал и с невыразимой тоской прошептал: «А они меня не понимают, совсем не понимают…» Жена бросилась поддержать его, но в руках у нее было уже бездыханное тело.

Друзья провожали тело великого русского патриота на Волково кладбище. Открыто выражать свое сочувствие умершему было запрещено. Даже имя Белинского не позволялось упоминать в печати. Процессия шла молча по улицам Петербурга. Здесь были многие выдающиеся русские писатели — ученики «неистового Виссариона», которых он научил глубже понять свою связь с родиной и народом. Тут же шла учащаяся молодежь, студенты, лично не знавшие Белинского, но воспитанные на его статья, готовые продолжать его дело. Среди этой молодежи легко было заметить человека с бледным худощавым лицом, с умным, сосредоточенным взглядом, которого товарищи называли с уважением Николаем Гавриловичем или просто, по-дружески, Чернышевским.

На могиле Белинского не было речей, но каждый, стоя у этой открытой могилы, мысленно мог бы повторить слова Некрасова:

О! сколько есть душой свободных
Сынов у родины моей,
Великодушных, благородных
И неподкупно верных ей,
Кто в человеке брата видит,
Кто зло клеймит и ненавидит,
Чей светел ум и ясен взгляд,
Кому рассудок не теснят
Преданья ржавые оковы,—
Не все ль они признать готовы
Его учителем своим?..

notes

Примечания

1

Вольтерьянцами называли последователей знаменитого французского писателя и философа XVIII века Вольтера, известного своим свободомыслием.

2

Бахус — бог вина у древних греков и римлян.

3

«Бедная Лиза» — повесть Карамзина. *«Марьина роща»* — повесть Жуковского. *Эраст Чертополохов* — герой повести Карамзина.

4

Риторы — ученики младших классов духовных училищ.

5

Низший класс чинов по табели о рангах.

6

Хриями называлась обязательная форма, по которой писались сочинения на заданную тему.

«Воспоминания о Белинском» И. И. Лажечникова.

8

Речь идет об отце М. А. Бакунина.

9

Журнал «Большевик» № 7–8, стр. 14, апрель 1944 г.

10

Маркс и Энгельс. Соч., т. XIV, стр. 639.

11

П. Я. Чаадаев — друг Пушкина, выдающийся русский мыслитель первой половины XIX века.

12

Известный журналист и писатель, издававший вместе с реакционером Булгариным газету «Северная пчела».

13

О. И. Сенковский — издатель «Библиотеки для чтения». *Плюшар* — издатель известного в то время «Словаря».

14

Ассигнации стоили значительно дешевле серебряных денег.

Субстанции — сущность.

16

Шеллинг—философ-идеалист, учением которого Белинский интересовался еще в кружке Станкевича.

17

Людвиг Фейербах — известный немецкий философ, левый гегельянец, материалист, высоко ценимый Марксом и Энгельсом.

18

Сибарит — изнеженный, стремящийся к роскошной жизни человек.

19

Мистицизм — религиозное и философское воззрение, допускающее непосредственное общение человека с сверхъестественными силами, богами, духами и пр.

20

Аскетизм — учение о подавлении всех влечений и потребностей здорового человеческого организма с целью достижения религиозно-нравственного совершенства и «общения с божеством».

21

Пиетизм — религиозно-мистическое течение, противопоставлявшее человеческому разуму внушение добра «свыше».